

ЗА ИЗУЧЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА

Обзор Г. Гуковского

I

За последние годы в нашем литературоведении замечается некоторое (хотя и слабое) оживление интереса к русской литературе XVIII в. Укажем например такие факты. В созданной по инициативе М. Горького и под его редакцией серии «Библиотека поэта» (Издательство Писателей в Ленинграде) вышли в свет избранные стихотворения Державина и сборник «Ироико-мимическая поэма XVIII—начала XIX вв.», выходит сборник стихотворений Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова. Затем Издательство политехноржан и ссыльнопоселенцев предприняло издание полного собрания сочинений Радищева в трех томах. Впрочем это оживление не изменяет того положения, что история литературы этой эпохи—наименее разработанная область литературоведения. Издавна установилось такое соотношение сил в науке, согласно которому вся и все изучает литературу XIX в. и текущего столетия, а художественная продукция эпохи Ломоносова и Державина привлекает внимание немногих оригиналов, любителей антикварных и ветхих вещей, книголюбов или же закоренелых библиографов, для которых самая отдаленность этой эпохи представляет обильные возможности разрешения библиографических загадок. Вся история новой русской литературы оказалась как бы разделенной на два больших периода, на грани которых стал Пушкин. Получилось так, что даже среди многих литературоведов-словесников канонизовалось невежество относительно русской литературы XVIII в., воспринимаемой как еще «не настоящая» литература в отличие от подлинной литературы, народившейся лишь в третьем десятилетии XIX в. или, в лучшем случае, начиная с Жуковского.

Еще прежняя царская школа задушила возможность активного переживания литературы XVIII в., и традиция отношения к этой литературе как к школьному старому хламу держится крепко. Даже самые выдающиеся произведения XVIII в. так прочно связались в сознании читателя с представлениями о школьной пыли, о мертвенном, далеком от творческой активности, неловком виршеплетении плохо владеющих языком варваров, что он не видит никаких импульсов к тому, чтобы проверить традиционное представление.

Нет необходимости доказывать, насколько недопустимо такое забвение целого почти столетия литературной жизни, целого ряда крупных, замечательных писателей, такое наивное отношение к Пушкину и к его эпохе, как к началу русской литературы, до тех пор влечившей жалкое существование и вот теперь, именно с гением Пушкина, вдруг оформившейся и вышедшей на арену истории. Нет нужды конечно и в разъяснениях того, в какой мере несчастное предубеждение, низводящее литературу XVIII в. до положения только лишь подготовки настоящего искусства, основывается на произвольных эстетических оценках, преходящих и давно устаревших вкусах, на полной неосведомленности и удивительном консерватизме, заставляющем некоторых критиков, ученых и их читателей повторять принятые без проверки, без попытки переосмысления или хотя бы некоторого ремонта суждения литературоведов и исследователей «доброе старое время». Та же леность мысли, которая приводит к бесконечным перепечаткам одного и того же выбора стихотворений в большинстве поэтических хрестоматий за целый ряд десятилетий, приводит и к канонизованным учебниками спискам «признанных» писателей, странствующим без изменений от Галахова до Назаренки; эта застывшая иерархия ценностей, давно забывшая о том, кто ее создал и какому мировоззрению она соответствует, изгнала поэзию XVIII столетия из «хорошего общества» литературы последующих эпох¹.

Плохо при этом то, что наука наша распределяет свои силы неравномерно и почти произвольно. Десятки работников изучают Пушкина, разбирают его по косточкам, не видя леса из-за деревьев; на долю его предшественников не остается почти ничего. Тут не можешь ссылками на «актуальность» Пушкина и «неактуальность» Державина. Кто судил о Державине, если читатель не знает Державина?

Неужто двое критиков или литературоведов решают за всю эпоху? Неужто найдется человек, способный утверждать, что Державин, величайший поэт целого столетия, вовсе не интересен нашей современности? Такое утверждение было бы по меньшей мере произвольно. Чтобы выбрать из богатства прошлого то, что нужно современности, необходимо прежде всего знать это прошлое. Нужно ли доказывать необходимость изучения культуры прошлого, в частности изучение крепостнической и антикрепостнической культуры в эпоху расцвета крепостничества?

Между тем пробелы в знаниях о XVIII в. действительно очень велики. Отсюда и власть предрассудков, опровергнуть которые способно только исследование материала, приведение его в известность и в некоторую систему. Пока же этого нет, пока наука не занялась или почти не занялась разработкой огромных фондов литературы допушкинской поры, все еще будут иметь силу огульные рассуждения о подражательности русского «ложноклассицизма», о том, что он «не самобытен», т. е. не выражает русской жизни и русского общества, что поэзия Ломоносова, Сумарокова и др.—только список с поэзии французского классицизма и т. п. Вместе с этой «теорией», разлетающейся конечно на куски при первой же проверке фактами, все еще будет держаться в умах не менее бессмысленное в методологическом отношении мнение о литературе века как о сплошном недифференцированном монолите схоластических упражнений, лишенных мировоззрения, искусственных и отвлеченных от реальной жизни и личного характера автора. Последнее—очень важно. Критика второй половины XIX столетия мыслила всякое литературное произведение как выражение личности автора, свободного индивидуального характера. Говоря о произведении, она неизменно говорила о характере автора и о сумме его личных мнений, составлявших его «направление». Ничего другого она чаще всего не могла усмотреть в произведении. Ей нечего было делать с поэзией, законом которой был не буржуазный индивидуализм, а рационалистическая концепция прекрасного, понятого вне зависимости от времени и места. Как раз единичной личности и не было в стихах Ломоносова и Сумарокова, как не было в них автобиографизма или стремления противопоставить свою систему художественных средств (выражение своего душевного строя) системе всякого другого поэта. Поэты русского классицизма (если мы обозначим этим наименованием условно-дворянскую литературу середины века) строили свое творчество, исходя из отвлеченных рационалистических концепций прекрасного, но конечно именно эта система эстетического мышления выражала их социальное сознание. Они писали о любви вообще, об отвлеченной морали, обосновывая свою художественную манеру не личным (будто бы внеобщественным) вкусом, а например законом жанра как одной из схем закономерно должного в искусстве. Но ведь именно самое существо этого императива рациональной закономерности, именно характер этой отвлеченной морали и самый принцип ее отвлеченности отчетливо осмысляет каждое из произведений русского классицизма мировоззрением общественной группы, творившей его. Люди, создававшие искусство в середине XVIII в., по своему социальному и мировоззрительному облику слишком отличались от тех, которые руководили литературной мыслью капиталистической России. Они говорили на разных языках, и поэтому многие яркие, иногда самые значительные произведения XVIII в., создававшие для читателя своей эпохи целый комплекс сложного миропонимания, вооружавшие его в социальной борьбе, оставались нередко совершенно непонятны, закрыты для критиков следующего столетия, взрожденных иной эпохой, иными социальными силами. Они искали смысла и содержания, не умели найти его и объявляли непонятые произведения просто лишенными смысла, пустыми упражнениями виршплетов или, в лучшем случае, экспериментами в области языка. Чаще же всего они обходили молчанием эти произведения, потому что им попросту нечего было сказать о большинстве литературных фактов эпохи классицизма,—и они делали вид, будто бы этих фактов не было или они не входят в круг явлений художественного творчества. Таким образом огромная масса поэтической продукции целого столетия оказалась вне поля зрения не только критики, но и науки.

Я не могу конечно остановиться здесь на вопросе о художественном мировоззрении различных социальных групп, воплощавшем те или иные течения русской литературы XVIII столетия. Для меня существенно отметить здесь, что неосведомленность нашей науки и критики в области русской литературы XVIII столетия в значитель-

ной мере объясняется исторически порочным наследием слепоты литературного сознания эпохи буржуазного индивидуализма к фактам, порожденным другой системой мысли, выросшей в условиях другой социальной обстановки. Я указал один пример—вопрос об отвлеченности в эпоху классицизма; разумеется литература XVIII в. не исчерпывается продукцией школы классицизма, как не исчерпывается и вообще творчеством дворянства и для дворянства. Однако характерная слепота буржуазной литературной мысли XIX столетия по отношению к явлениям, не подводимым под элементарные рубрики, выработанные либерально-буржуазным мышлением, распространяется естественно почти на все произведения, школы, течения русского искусства доромантической поры. Едва несколько отдельных книг (среди них, к счастью, гениальное произведение Радищева) избежало общей участи. Все же остальное слилось в сознании людей типа Пыпина, Булича или же Незеленова в одну серую массу, в которой не различишь ни отдельных группировок, ни творческих индивидуальностей.

Так и по сей день широко распространено представление о том, что вплоть до «сентиментализма», до Карамзина, в России крепко и неизменно держался «ложно-классицизм», как нечто, на протяжении 60 лет не подвергавшееся действию времени. Так и по сей день даже Державинская «Ода на смерть князя Мещерского», произведение, нанесшее сильнейший удар поэтике классицизма, трактуется как одно из характерных проявлений этой поэтики. Вся сложная история борьбы, союзов, столкновений, разногласий и объединений социальных и литературных сил от 30-х до 90-х годов XVIII столетия слишком часто игнорируется.

Между тем времена Булича и Пыпина прошли. Научные методы и мировоззрение раннего буржуазного либерализма давно отошли в прошлое. Слепота и узость взглядов той эпохи не могут уже быть законом для нашего времени, и мироощущение буржуазного индивидуализма должно быть преодолено нами. Будь это так, весь сложный мир искусства XVIII в. открылся бы нам, конечно отнюдь не на правах солидарности с нами, но на правах истории, чуждой нам, но значительной.

В связи с изложенным стоят две характерные особенности, свойственные научной литературе о XVIII в. Боязнь концепций, построенных на материале, еще слишком мало исследованном, боязнь углубления в толщу этого материала приводит некоторых «осторожных» ученых к некоему научному крохоборчеству. Они вырывают из моря малоизвестных фактов и имен какой-нибудь фактик, более или менее незначительный, какой-нибудь отдельный вопрос, вопросик, штрих и подвергают его микроскопическому исследованию, чаще всего библиографического характера. Выбор материала неизбежно оказывается случайным. Рядом с данным вопросиком стоят десятки больших вопросов, на которые исследователь закрывает глаза. Он только собирает материал, и собирает его может быть тщательно, но беда в том, что сам по себе материал научно аморфен, что, не будучи освещен и осмыслен той или иной общей концепцией, он не имеет значения даже научного факта, он как бы не существует, потому что неясно, каково его значение, как он вообще относится к истории и к искусству, в котором все живет лишь постольку, поскольку значит что-либо, осмысливается.

Собирание фактов впрок—задача тщетная как потому, что концепция никогда не строится путем сложения фактов, так и потому, что ученый, созидаящий концепцию, чаще всего сам собирает для себя материал, не надеясь на полноту случайных справок и справочек, данных ему литературоведами-крохоборами. Так все эти отдельные кусочки, выдернутые из массы неизвестного материала, все эти публикации писем Карамзина (по одному письму), или какой-нибудь мелочи из биографии Н. Львова (а все почти поэтическое наследие этого замечательного писателя до сих пор не издано), или соображения насчет авторства какого-нибудь малозначительного стихотворения (а десятки стихотворений Богдановича до сих пор не опознаны на страницах журналов) остаются лежать мертвым грузом и покрываются пылью на страницах специальных ультра-академических изданий, воскресая лишь изредка в виде ссылок в комментариях тщательного библиографа, стремящегося блеснуть полнотой своей эрудиции. Что ж, и это полезно, и это необходимо. Трудно иметь что-либо против даже крайнего библиографического крохоборчества, только бы оно не величалось званием науки и не заслоняло собою неотложной задачи в самом деле привести в известность всю основную массу, поднять всю целину литературы XVIII в. Наоборот, работы, зараженные пороком безответственного порханья поверх фактов и легковесных обобщений, сделанных на основе нескольких случайных сведений о малознакомой автору эпохе, без сомнения вредны.

В мою задачу входит обозреть результаты работ нашего литературоведения, поскольку оно занималось исследованием истории литературы XVIII столетия.

Я считаю возможным ограничиться при этом обзором научной продукции за последние 3—4 года, останавливаясь лишь на наиболее характерных явлениях в этой области.

II

Особенности научного творчества, характерные для данной дисциплины, естественно наиболее полно и отчетливо могут быть продемонстрированы на материале общих, суммарных работ, охватывающих в связном изложении всю проблематику данной области знания. В таких работах как бы подводится итог результатам усилий отдельных исследователей. Опираясь на все добытое предшественниками, авторы общих курсов, справочников или общих очерков предоставляют читателю возможность и право судить по материалу, сведенному в них, о качестве и количестве научной добычи в пределах взятой ими темы.

Понятно, что и самый обзор научной литературы удобнее всего начинать именно с общих очерков, справочников и курсов.

Как будто нарочно для удобства обозревателя за последнее время на книжном рынке появились работы, представляющие все три главных разновидности суммирующих и подводящих итог научных жанров, указанных выше, в применении к истории литературы XVIII в. С одной стороны, мы имеем опыт общего очерка, *essai*, стремящегося как бы свести все многообразие литературного опыта столетия к простому, отчетливому рисунку исторического процесса, стремящегося дать яркую характеристику целой эпохи развития литературы несколькими крупными, выразительными штрихами. Рядом с произведением этого трудного научного жанра, приближающегося иногда к манере художественной критики, мы можем воспользоваться выходящим уже с 1929 г. и имеющим выходить впредь общим литературоведческим справочником, поскольку на его страницах кое-какое внимание уделено русской литературе XVIII в. Наконец существенное значение в истории науки не может не сыграть обширный курс истории русской литературы, представляющий опыт более или менее полного, детального и систематизированного свода всех сведений, взглядов и теорий, составляющих актив науки последних десятилетий; второй, и к сожалению последний, вполне законченный автором том этого курса посвящен на добрую половину именно XVIII в.

Следовательно мы имеем полную возможность, присмотревшись к указанным трем научным сочинениям, составить достаточно обоснованное суждение о результатах, итогах научного творчества последних лет в интересующей нас области. Остается назвать эти три сочинения; я имею в виду, во-первых, статью академика А. В. Луначарского «Русская критика от Ломоносова до предшественников Белинского», открывающую первый том коллективного труда под названием «Очерки по истории русской критики» (ГИЗ, 1929), во-вторых, «Литературную энциклопедию» (в части статей о литературе XVIII в.) и, в-третьих, труд покойного академика П. Н. Сакулина «Русская литература».

Название обширной статьи акад. Луначарского конечно не соответствует ее содержанию; это название слишком узко. Автор не только не ограничивается изложением судеб русской критики до Белинского, но дает в своей работе, занимающей 75 страниц в большую осьмушку, экскурсы и в область западноевропейской литературы эпохи классицизма. Статья предлагает читателю как бы общий взгляд на русское литературное движение до 20-х годов и на этом широком фоне рисует некоторые моменты в развитии русской критики или, вернее сказать, в эволюции литературного мировоззрения, потому что о критике, как таковой, в статье сказано не много.

Как же ставит А. В. Луначарский вопрос об общем характере литературы XVIII в., каково его отношение к этой литературе как к этапу истории русской литературы и социального творчества вообще?

Начну с некоторых цитат; А. В. Луначарский приступает к своей теме: «Статья, которую я взял на себя в этом сборнике, должна проследить возникновение и развитие русской критики, некоторый ее период, который можно назвать детским, а в последней стадии в лучшем случае—отроческим. Несмотря однако на естественную слабость мысли в этот начальный период, его нельзя считать мертвым для нас» (стр. 9). Это о критике. Далее речь идет и о всей литературе в целом: «Век Екатерины явился, в сущности, эпохой возникновения нашей сознательной литературы и критики. Литература и критика до Ломоносова представляет собою лепет, так сказать, доисторический, младенческий период, а век Екатерины или, вернее сказать, Ломоносова (NB!) можно считать детством нашей литературы» (ib.).

В других местах статьи говорится например так: «...красоты французского классицизма, который так долго и так напрасно шельмовался «псевдоклассицизмом»,

отсутствовали в подлинно л о ж н о м классицизме России. Оды и трагедии были порождены в России исключительно требованиями пышности. Пышнословие это чрезвычайно редко, разве только у Ломоносова в иные религиозно-философские моменты, согревалось хоть каким-нибудь чувством, освещалось хоть какой-нибудь мыслью» (стр. 16—17)...

Расправившись с литературой в целом, автор статьи «критикует» отдельные жанры и отдельных поэтов: русская трагедия для него «сугубо уродлива» (ib.). «Хотя до Державина ода, за исчезающими исключениями некоторых од Ломоносова, представляет собой надменную чепуху, хотя трагедия вплоть до Озерова (с большим сомнением и относительно Озерова) представляет собою бездушную галиматью и обезьянье передразнивание иностранцев,—все же и ода, и трагедия были не только предметами гордости со стороны нуждавшегося в их блеске двора»... (ib.) и т. д.

Или так: «... сколько бы морали ни содержалось в додержавинской литературе, все равно пить этот ужасный квас с примесью заграничного укуса можно было только скрепя сердце, в иллюзорном сознании крайней его полезности»... (стр. 24) и т. д. «Гений Пушкина принудил читать, и читать с наслаждением, людей, которые до сих пор считали (и отчасти справедливо) литературу на русском языке каким-то провинциальным кропаньем»... (стр. 32).

О Сумарокове: «Если вся литература екатерининского времени вообще стояла невысоко, если произведения, отличающиеся более или менее преходящими художественными достоинствами, могут уместиться в один небольшой томик, то нужно прямо сказать, что ни одно произведение Сумарокова в этот томик не попало бы. Его трагедии абсолютно неудобочитаемы... Так же точно и лирика Сумарокова чрезвычайно слаба... Поэзия Сумарокова стоит на равном расстоянии от Ломоносова вверх и от Тредьяковского вниз... Сумароков... величайший трагик времени—живет только как историческая фигура или как курьез» (стр. 39—40).

Однако довольно! Во всех этих и подобных этим суждениях и размышлениях автора статьи печально даже не то, что они представляют собою совершенно неудержимый оценочный импрессионизм. Конечно А. В. Луначарский волен одобрять или не одобрять любое литературное произведение; конечно ни Ломоносов, ни Сумароков, ни Державин, ни даже Озеров вовсе и не нуждаются в одобрении того или иного ученого. Все это так, но все это еще не страшно. Не самое тяжелое при этом и то обстоятельство, что оценки исследователя ничем не обоснованы.

Для него весь XVIII век—лишь подготовка Пушкина. Язык XVIII века—еще необработанный, дикий язык. «Конечно,—пишет он,—русская классика представляла собою нечто в высшей степени жалкое. Даже Державин, величайший ее представитель, должен был бороться еще с крайне неуклюжим языком и носил на себе печать известной дикости» (стр. 72).

С чьей точки зрения язык Державина неуклюж? Для ряда поколений читателей это был шедевр словесного творчества. Неужели же мы должны бранить «Слово о полку Игореве» только за то, что автор его говорит «комони» а не «кони».

Всякая литературная эпоха обязана чем-то своим предшественникам. Однако это не дает нам права рассматривать Расина только как претечу Вольтера или тем более Виктора Гюго. Ломоносов и Державин творили вовсе не для того, чтобы подготовить почву и разработать язык для Пушкина, а для того, чтобы выразить определенное мировоззрение и организовать определенную социальную практику, что им и удавалось вполне. Порукою их удачи служит вся литература XVIII в. Почему же эпоха Ломоносова или Державина—младенчество русской литературы? Неужели только потому, что поэты этой эпохи творили иначе, чем Пушкин? Выходит так, что от Кантемира и вплоть до середины XIX в. тянется одна прямая линия учебы; сначала поэты совсем не умели писать, потом стали писать лучше, потом совсем недурно, наконец—в эпоху Пушкина—хорошо. Такое объяснение противоречий, этапов, разнообразия форм и мировоззрений, составивших литературную борьбу на протяжении ста лет, вряд ли можно считать научным.

Я не собираюсь здесь защищать Сумарокова и других от А. В. Луначарского. Достаточно было бы указать на огромное влияние, которое оказало творчество Сумарокова на дворянскую литературу его эпохи, на то, что он как бы повернул ход истории русской литературы в новое русло, на то, что он наиболее ярко осуществил в слове определенный этап классового самосознания и практики дворянства (вернее ведущей в то время группы дворянства); достаточно было бы привести хотя бы несколько цитат из суждений о нем современников, чтобы убедиться в необоснованности презрительной резолюции А. В. Луначарского. Повторяю, дело не в отдельных оценках. Дело в том, что А. В. Луначарский искренне верит в Пушкина как сочинителя и творца русской литературы, до которого существовало лишь вар-

варство или, в лучшем случае, робкая подготовка того же Пушкина, конечно свалившегося с неба; как будто история литературы того или иного общества, существующего в течение длительного периода времени, может где-то неожиданно начинаться, как будто общество может существовать без литературы или как будто целое столетие, отмеченное напряжением социального творчества ведущих общественных групп, может довольствоваться плохой литературой, удовлетворяясь ролью подготовителя имеющего притти поэта, ролью библейского пророка.

В одной старой французской пьесе, действие которой отнесено к XIII в., герой говорит: «Мы, люди средних веков»...

По Луначарскому весь XVIII век обладает таким же даром провидения и такой же исторической скромностью, как этот трагический герой.

Разделяя предрассудок доначной стадии нашей критики о «младенчестве» искусства XVIII в., предрассудок, который науке нелегко опровергнуть именно вследствие его вненаучности, А. В. Луначарский конечно повторяет и застарелые суждения о подражательности литературы эпохи классицизма. Больше того: в разбираемой статье «идея» об отсутствии «самобытности», об искусственности и подражательности русского классицизма, имевшая значение лишь в пору полемики вокруг понятия самобытности и продвижения идеи ценности единичной личности, представлена в крайне суженном виде.

Я уже приводил цитаты, в которых А. В. Луначарский то готов признать, что русская литература до Пушкина была провинциальным кропанием, то объявляет все трагическое творчество почти целого столетия «передразниванием иностранцев». Сумароков по его мнению «прежде всего подражатель, обезьяна Запада»; он «передразнивает Францию»... он—«наиболее рабский подражатель западно-придворных литературных форм». Или так: «Классицизм наш был так же завозный, как меблировка дворцов императриц и вельмож, позаимствованная в Париже» (стр. 73 и др.).

Тщетно было бы искать в разбираемой статье материалов, фактов, подтверждающих такие решительные суждения; они позаимствованы у критики доброго старого времени без проверки. Тщетно было бы также искать принципиального разъяснения вопроса о том, как это может быть, чтобы общественная группа одной страны, отъединенной специфическими чертами своего бытия от других стран, проходящей те же этапы исторического развития, но в иные сроки и в существенно своеобразных формах,—чтобы она жила искусством,—целиком повторяющим искусство этих иных стран, созданное притом иными социальными группами.

Не говорю уже о том, что утверждение о «передразнивании» Франции поэтами русского классицизма страдает недопустимой неопределенностью, так как опирается на представление о французском классицизме, как о чем-то едином и неподвижном на протяжении 150 лет.

Кроме того, если Ломоносов подражает западному классицизму (допустим, что такой единый классицизм существует), то значит Сумароков уже безусловно не подражает ему, поскольку Ломоносов и Сумароков—поэты, социальное и художественное мировоззрение которых, так же как самый творческий метод их, в значительной мере несовместимы. То же еще в большей мере относится например к Державину, отменившему самые основы художественного мышления и творчества обоих своих предшественников.

Конечно если бы автор статьи попытался дать хоть в общих чертах ответ на вопрос о том, что же такое русский классицизм, каковы его характерные черты, если бы он несколько остановился на изучении фактов, сюда относящихся, то сразу же оказалось бы, что русский классицизм связан с различными проявлениями западного классицизма общностью мировоззрительных и социальных основ и рядом общих черт творческого метода, но это ни в какой мере не дает нам права говорить о его подражательности, как неорганическом бытии, искусственности, так же как не дает нам права не замечать существенных характерных черт его, отличающих его от его западных собратьев. В самом деле, даже незначительной доли внимания к художественной продукции русских писателей XVIII в. было бы достаточно для того, чтобы убедиться в своеобразии русской литературы этой эпохи. Иного мы и не могли бы ожидать, даже рассуждая априорно, исходя из общего представления о литературе, как о социальном творчестве, а не шляпе, которую может надеть кто угодно,—французский ли «горожанин» XVII в. или же русский помещик, живущий на сто лет позднее.

Естественно, что при чтении статьи А. В. Луначарского не может не возникнуть такой вопрос: каким образом случилось, что такой ученый, как Луначарский, достаточно зарекомендовавший себя среди широких читателей, взявшись за изображение русской критики и литературы XVIII в., как бы подчинился совершенно порочной

научной и критической традиции, почему он не смог освободиться от пут этой традиции? Позволим себе высказать предположение, что причина этого именно в малой изученности самого материала, на котором он работал в данном случае, приведшей и к неубедительности изложения некоторых отдельных вопросов.

Укажу некоторые показательные в этом отношении мелочи.

На стр. 40 своей статьи А. В. Луначарский рассказывает: «Еще недавно мне пришлось прочесть трагедию Вольтера «Магомет» в переводе Ломоносова. Несмотря на большую тяжесть языка, в переводе Ломоносова есть места, блистающие несколько аляповатой, но несомненной великолепностью. При всей неуклюжести есть все-таки какое-то движение. Попадают курьезные речения, которые однако, при воспоминании обо всем стиле этой эпохи, не ставишь в вину автору». Какой подробный отзыв, но о чем?

Нет нужды напоминать читателю, что никакого такого перевода «Магомета» не существует. (Трагедия Вольтера «Магомет» была переведена на русский язык впервые через 30 с лишним лет после смерти Ломоносова П. С. Потемкиным, издана в 1797 г., а потом переведена вторично Н. Ф. Остолоповым и издана в 1810 г. Что же касается Ломоносова, то он написал две оригинальные трагедии—«Демофонт» и «Тамира и Селим».)

Еще мелочь. На стр. 52 автор пишет о Владимире Лукине, драматурге 60-х годов XVIII столетия, что он, принадлежа к кругу близких Новикову по образу мыслей людей, не простил ему сплошного восхваления всех писателей в его словаре,—«и в интересной книжечке «Рассуждение о Дельфине—романе госпожи Сталь»—не назвавший себя в то время острый Владимир Лукин подверг новиковский хвалебный перечень всяческому осмеянию». Далее идет цитата из книги, которая не могла быть написана Лукиным, уже хотя бы потому, что он умер за 9 лет до того, как была издана «Дельфина» (1803).

(Книжка, о которой идет речь, называется так: «Рассуждение о Дельфине. Сочинение г-жи Сталь Голстейн. Перевод с французского. В СПб. При губернском правлении. 1803». О новиковском словаре говорится в предисловии переводчика.)

И вот, обладая такими-то сведениями о Лукине, автор находит возможным заниматься истолкованием его творчества! Неясно также, почему Лукин, обруганный с редким ожесточением в журналах Новикова, последовательно травимый им, оказался в изложении А. В. Луначарского близким по образу мыслей тому же Новикову.

А. В. Луначарский сравнительно подробно останавливается на характеристике взглядов Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Крылова. Я не скажу ничего о расплывчатости, внеисторичности этой характеристики, но я не могу не отметить затруднительность самой задачи формулировать взгляды и выяснять историческое значение трудов литературных деятелей, сведения о которых, имеющиеся в распоряжении автора, слишком неточны. О Ломоносове речь уже шла выше. Прибавлю, что акад. Луначарский полагает, будто Ломоносов «первый пытался пробиться к народному языку» (стр. 32). Если попытаться уяснить, что имеет в виду автор, говоря о народном языке (термин весьма неопределенный), то окажется, что речь идет о говорном, может быть даже крестьянском, во всяком случае—языке диалектическом, которому суждено было «питать язык литературный». Трудно более поклепать на память Ломоносова, создателя, теоретика и пропагандиста именно «литературного», высокого, отрешенного от обыденности языка, резко различавшего язык искусства, вообще язык высокого назначения, от языка «низов», «подлого» языка.

А. В. Луначарский цитирует Сумарокова: «Счастливы те,—воскликает он (т. е. Сумароков.—Гр. Г.) в своей эпистоле о стихотворстве,—которых искусство не ослепляет и не отводит от природы»... и т. д. (стр. 44). Не могу не напомнить, что эпистола «о стихотворстве» Сумарокова, произведение, основополагающее для литературы и критики целой эпохи, перепечатанное, цитированное и изложенное неоднократно даже и в науке последних десятилетий, произведение, почти что школьно известное,—как и полагается всякой эпистоле, написано в стихах. Что же касается приведенной исследователем цитаты, то она взята из статьи Сумарокова «О стихотворстве камчадалов» (первоначально в «Трудолюбивой пчеле» 1759 г., затем—в собраниях сочинений, т. IX).

А. В. Луначарский приводит на стр. 45 своей работы еще одну цитату из Сумарокова. Потом, на следующей странице, он говорит: «Курьезно конечно, что в то время, как Ломоносов практически достигал иногда именно этого парения в одах, а скучный темпераментом, узенький Сумароков никогда к этому не поднимался,—теоретически Сумароков мог все-таки бросить Ломоносову упрек в риторике, в не-

достатке чувства». А. В. Луначарскому хочется опять выбрать ненавистного ему Сумарокова; ему непонятно при этом, как это Сумароков порицает Ломоносова за «пужливость», за риторику, за «надутость», а сам не допускает ее в своих одах.

Что ж тут непонятного?

Далее: «Тредьяковскому чрезвычайно хотелось уязвить Сумарокова, и поэтому он решил, что Сумароков переборщил в нападении на Ломоносова... Тредьяковский язвительно пишет: «и хотя-ж оды свойство»... и т. д.

Все идет как по маслу: Сумароков обругал Ломоносова, Тредиаковский возразил Сумарокову. Однако проверим даты. «Возражение» Тредиаковского написано в 1750 г.² и никакого отношения к Ломоносову не имеет, а заметка Сумарокова, о которой идет речь, написана в 1774 г.—через пять лет после смерти Тредиаковского. Кстати заметка эта помещена в примечании (уведомлении) Сумарокова к его переводу IV олимпийской оды Пиндара³.

На стр. 24 статьи А. В. Луначарского мы узнаем, что «Державин начал доставлять истинное удовольствие, чего до него достигали разве только комедии Фон-визина и сатиры Крылова». Не говоря уже о достойных сожаления читателях русской литературы 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов XVIII в., все читавших и читавших русские книги и не имевших возможности получить от них удовольствие; с ними А. В. Луначарский расправился легко, но Крылов не укладывается в его статью. Если мы даже догадаемся, что речь идет о его сатирических статьях, то почему же они оказались известны жадному до удовольствий и не получавшему его читателю ранее державинских од? Ведь «Фелица» написана в 1782 г., издана в 1783 г., «Ода на смерть кн. Мещерского» издана в 1779 г., «Благодарность Фелице»—в 1783 г. и т. д., а сатирические статьи Крылова относятся к 1789—1793 гг.

О самом Крылове А. В. Луначарский также сообщает весьма и весьма неточные сведения; например на стр. 57 он говорит, что Екатерина II бросила Крылова в каземат, чего в действительности не было; в высшей степени странные и неточные сведения дает А. В. Луначарский о «Беседе», о Шишкове и о целом ряде других писателей конца XVIII века.

Я не буду говорить о том материале, который использовал А. В. Луначарский в своей статье, тем более о том материале, который он в ней не использовал. Замечу только, что остается непонятным, почему рядом с Крыловым, Сумароковым, Тредиаковским, Ломоносовым особое внимание уделено Лукину, которого лишь с натяжкой можно назвать критиком (он был драматургом и говорил о своих взглядах в предисловиях к комедиям, но о других писателях говорил скупой), а целому ряду критиков XVIII в. вовсе не уделено ни слова. Назову М. Н. Муравьева, С. Г. Домашнева, И. Богдановича, А. Клушина. На таком же основании, как о Лукине, следовало бы поговорить о литературных взглядах например Ф. Эмина, Н. Львова, Капниста и других. Выбор материала, сделанный Луначарским, производит впечатление случайности. Он не говорит даже о взглядах на литературу Радищева и Новикова, заявляя, что «они как критики ничем себя не проявили, за исключением того только, что Новиков издал «Опыт словаря российской литературы», представлявший собою однако отнюдь не критику, а сплошной комплимент, сплошное восхваление всех писателей и писак того времени» (стр. 52). Едва ли можно согласиться с А. В. Луначарским. «Опыт словаря» Новикова—первая и очень важная книга по истории русской литературы; кроме того в новиковских сатирических журналах заключено много материала, относящегося к теме статьи А. В. Луначарского, хотя бы например полемика с Лукиным. Радищев же написал специальную статью («Слово») о Ломоносове, помещенную им в «Путешествии из Петербурга в Москву», посвятил вопросам литературы главу «Тверь» в той же книге и значительную часть своей статьи «Памятник дактило-хореическому витязю» посвятил изображениям о Тредиаковском.

Эрудиция А. В. Луначарского известна. Просматривая его многочисленные и разнообразнейшие работы, удивляешься прежде всего обилию знаний автора. Тем более показательно для всей науки о XVIII в. то обстоятельство, что ученый, столь осведомленный в других областях литературоведения, оказался во власти материала, как только он подошел к литературе XVIII в. Нет сомнения в том, что и он сам признает себя побежденным этим материалом⁴. Между тем авторитет А. В. Луначарского может в данном случае оказать дурную услугу науке. «Каземат», в который якобы был брошен Крылов, и тому подобные соображения о нем из статьи А. В. Луначарского попали в виде цитат в статью А. Цингатовой о Крылове, напечатанную при Полном собрании его басен в 1931 г. (ГИХЛ, Дешевая библиотека классиков. Школьная серия).

В статью о русской критике, помещенную в «Литературной энциклопедии», издание, имеющем широчайшее распространение, также проникло кое-что из статьи Луначарского.

Более шести столбцов обширной статьи о русской критике в «Литературной энциклопедии» посвящено эпохе классицизма⁵. Здесь характеризованы те же деятели, что в статье Луначарского—Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский, Лукин (очень подробно), Крылов; характеристика отчасти совпадает с той, которую дал Луначарский, отчасти дана от себя. Краткость изложения в особенности ярко выявляет недостаточную обоснованность и расплывчатость таких например утверждений: «Ломоносов является выразителем буржуазных тенденций в общественном развитии». Автор заявляет, что Ломоносову «помешало занять четкую классовую позицию» то обстоятельство, что он, будучи сыном зажиточного рыбака, стремился приблизиться к высшему обществу, оно же держало его на известном расстоянии от себя. Этим и объясняет автор то, что Ломоносов «был не в силах порвать со славянской». Вся эта характеристика, помимо того, что она страдает крайним индивидуалистическим биографизмом, мало подходит к Ломоносову, создателю высокого стиля, не только не имевшему тенденции порвать со славянской, но сознательно и принципиально насаждавшему ее в своих произведениях. В характеристике Тредиаковского автор не ушел дальше цитируемого им на правах научной солидарности Новикова. О Сумарокове сказано почти так же неопределенно и почти то же, что в статье Луначарского. Однако не обошлось без ошибок; по мнению автора статьи Сумароков более, чем Ломоносов и Тредиаковский, отгораживался от «подлой» стихии в языке; «он даже вступил по этому поводу в непристойную полемику с Ломоносовым и Тредиаковским. Недаром он был кровным дворянином-патриотом... и т. д. Беда в том, что, полемизируя с Ломоносовым, Сумароков именно ратовал за простоту слога против «надутой» чопорности языка Ломоносова, отрешенного от «подлой» стихии. Именно язык ряда произведений Сумарокова, в отличие от Ломоносовского, построен на элементах «простонародной», разговорной, подчас даже грубой речи, и эту черту творчества Сумарокова следовало объяснить. Общая характеристика критики дана по Луначарскому, и столь же неудовлетворительно. О Сумарокове, наиболее последовательно рационалистически мыслившем из всех писателей XVIII в., сказано, что он был «против господства разума; классовое положение дворянина не давало ему подняться до признания в поэзии господства разума». Ничего не скажу о такой «социологии».

Главка о Лукине представляет собою зрелище полной фантастики. Лукин, по мнению автора статьи, «разнес Сумарокова, требовал отказаться от подражаний». На самом деле Лукин лишь однажды упоминает Сумарокова и то без порицания; в его наследии есть лишь два-три намека, относящихся к Сумарокову; правда, значение этих намеков—немалое; тем не менее о неуважении Лукина к Сумарокову (они конечно были литературными врагами) мы знаем главным образом из памфлетов против Лукина в прессе школы Сумарокова, в сатирических журналах Новикова и других. О подражании же Лукин писал так: «Заимствовать необходимо надлежит»⁶. Он требовал лишь «склонения» чужих произведений «на наши нравы» и сам почти все свои комедии перевел или передал с французского.

«Он требовал новых пьес, строго русских, в духе «Недоросля» Д. И. Фонвизина», продолжает автор статьи. Но ведь произведения Лукина относятся к 60-м годам, а «Недоросль»—к 1782 г.!

Характеристика Лукина, непомерно раздутого, объявленного чем-то вроде идеолога всего прогрессивного, что было в обществе его эпохи, и в то же время—зачинателем нового периода русской критики (I), написана вся столь же «точно», так же как характеристика Крылова.

«Литературная энциклопедия» уделяет не слишком много места и внимания XVIII столетию русской литературы. Есть досадные пропуски в словнике издания, составленном безусловно неряшливо. Так в нем совсем нет статей о таких крупных деятелях, как Дашкова, Домашнев, Барков, Козодавлев и т. п.⁷ На страницах «Литературной энциклопедии» можно найти такие статьи, которые являются попыткой по-новому осмыслить материал словесного искусства XVIII в. Тем не менее «Литературная энциклопедия» вовсе не чужда застарелых традиций вольного обращения с XVIII столетием. В среднем теоретический уровень статей о XVIII в. в этом издании весьма и весьма низок. Характерны привычные для критики XIX в. произвольные и беспарламентные приговоры, раздаваемые «Литературной энциклопедией»; так например, мы узнаем из нее, что Капнист как лирик «примыкает к сентиментализму, малозначительным представителем которого он является», что

Костров—это «переводчик и второстепенный поэт», что «значение Кострова как самостоятельного поэта невелико»; даже о И. И. Дмитриеве (кстати, почему нет статьи о Дмитревском?) сказано в самом начале заметки о нем так: «Литературная деятельность Д. не имеет особого значения, хотя в свое время он пользовался большой популярностью». И еще: «Д. был известен и как сатирик и юморист, чрезвычайно поверхностный». Трудно не назвать такие приговоры развязными. Само по себе это стремление распределить писателей прошлого по чинам и превратить «Литературную энциклопедию» в парнасский адрес-календарь было бы по преимуществу безвкусно, если бы оно не сигнализировало о пренебрежительном, не научном отношении к писателям XVIII столетия.

В статьях «Литературной энциклопедии», посвященных писателям XVIII в., мы не очень редко встретимся с недостаточно развитым чувством осторожности как в отношении сообщаемых сведений, так и в отношении самой композиции заметки с точки зрения ее понятности и соответствия своему назначению.

Не редки случаи невнятного изложения.

В заметке о Дмитриеве сказано, что он «один из первых пытался привить литературе элементы народной поэзии и написал ряд песен в «народном духе», из которых одна была очень популярна—«Стонет сизый голубочек», и т. д. Неужто только одна песня Дмитриева была популярна? Кроме того: каким образом оказалось, что Дмитриев, писавший главным образом в 90-х годах XVIII в. и даже позднее, один из первых вводил в литературу элементы народной поэзии, когда это делали, и гораздо радикальнее, еще М. Попов в 60-х и 70-х годах, М. Чулков и многие другие вплоть до современника Дмитриева—Н. А. Львова?

Показательна статья, данная в «Литературной энциклопедии» о Капнисте. Я уже приводил одну цитату из этой статьи. Приведу ее начало: «Капнист, Василий Васильевич; граф (1757—1824)—русский драматург». Во-первых, Капнист не был графом (некогда род его назывался Капнисси и титуловался в Венеции графским титулом). Во-вторых, он умер не в 1824, а в 1823 г.⁸. В-третьих, почему он назван безоговорочно драматургом? Ведь «Ябеда» в его творчестве—явление заметное, крупное, но вовсе не закрывающее всей остальной его продукции. Так по крайней мере воспринимали творчество Капниста современники; так же следует и исторически оценить его, исходя из значительности этого творчества как факта мировоззрения и миростроения в слове общественной группы, выдвинувшей Капниста, и исходя из того влияния, которое имело его творчество. Но автору заметки о Капнисте не нравятся стихотворения Капниста—и он ничтоже сумняшеся объявляет его «малозначительным представителем» сентиментализма. Как тут быть? Еще в начале заметки он пишет о Капнисте: «Известен как автор комедии «Ябеда»... и т. д. Печально, если Капнист известен «Литературной энциклопедии» только как автор «Ябеды».

Неточен и дальнейший текст заметки. Материал заметки построен не совсем удачно. Об «Оде на истребление в России звания раба» сказано, что она написана по поводу «распоряжения Екатерины, чтобы русские обыватели в своих обращениях к верховной власти подписывались не рабами, а подданными», а об «Оде на рабство» не сказано, что она написана по поводу и против окончательного закрепощения украинских крестьян, что гораздо важнее, так как определенным образом характеризует украинофильство и вообще относительно-радикальную общественную позицию Капниста. Не сказано ничего и о том, к какому литературному направлению, к какой группе принадлежал Капнист в пору наибольшего значения его творчества—в пору его участия в Державинском кружке (о сентиментализме если и можно говорить, то ограничительно и главным образом в отношении к любовной лирике и то поздней).

Примечательна и библиография при заметке, в которой не упомянуто ни Гротовское издание Державинских сочинений и биографии Державина, ни статья Г. Кунцевича о «Ябеде» («Изв. отд. русск. яз. и слов. Академии Наук»—1906, т. XI, № 3), в которой приведены доцензурные тексты «Ябеды», совершенно меняющие ее облик по сравнению с общераспространенным текстом.

В своем роде примечательна и статья о Кострове. Прежде всего—если у «Литературной энциклопедии» хватило смелости обругать Кострова, то зато у нее не хватило любопытства узнать, как его звали. Заметка так начинается: «Костров, Ефим Иванович». (Необходимо напомнить еще раз, что я говорю не об авторе статьи, а об ответственности всего издания в целом за текст каждой заметки. Допускаю в данном случае опечатку. Но ведь читателю от этого не легче.) Назвать Ермила Кострова Ефимом, право, почти то же, что назвать Чарльза Диккенса Вильямом, или Жюль Верна Пьером. Эти имена приросли к своим фамилиям крепко; вспомним, что «Ермил Костров»—фигура анекдотическая, герой легенд интеллигентского фоль-

клора и между прочим герой драмы Кукольника (так и названной «Ермил Иванович Костров»). Конечно о бытовом облике Кострова в «Литературной энциклопедии» ничего не сказано, хотя он характерен как один из немногих ярких примеров меценатского использования деятельности поэта в России. Вообще говоря, статьи о писателях XVIII в. в «Литературной энциклопедии» на редкость сухи. При этом в них иногда механически соединяются замечания (и терминология), относящиеся к «форме», с соображениями социологического порядка. Правда, соображений этого порядка в заметке о Кострове нет, но ее «формализм» тоже удивителен: «В первом периоде своего творчества он пишет ряд торжественных од на всевозможные события придворной и университетской жизни в обычном «классическом» духе. Во второй период он ориентируется на простоту и реализм. К. явился одним из провозвестников сентиментализма («Клятва», «К пастуху», «К бабочке», «К Лизете» и др.)». Это все, что сказано об оригинальном творчестве Кострова. При этом неясно, когда же он был провозвестником сентиментализма, тогда ли, когда был классиком, или после какого-то перелома (когда он случился? ведь в статье ничего не сказано о влиянии Державина на Кострова), когда он стал «ориентироваться на простоту»? Читатель, знающий хоть немного историю русской литературы, ожидает, что в статье о Кострове, прославившемся и запомнившемся нескольким поколениям почти исключительно как переводчик Илиады, будет хоть что-нибудь сказано об этом переводе, о том хотя бы, сколько песен Гомерово поэмы перевел Костров, об александрийском стихе, о характере перевода и его значении. Тщетно. После приведенных только что строк в статье сказано: «Значительную роль сыграл К. как переводчик ряда крупных произведений мировой литературы (Золотой осел Апулея, Илиада, Песни Оссiana Макферсона и др.). Переводы эти стояли на высоте современных ему требований». Илиада даже не выделена из числа других, прозаических, переводов.

В статье «Идиллия» (раздел идиллия русская) названы досумароковские идиллии: «Нисса» Тредиаковского, «Полидор» Ломоносова. Не говоря о том, что Ломоносовский «Полидор» принадлежит к особому виду идиллии—похвальной идиллии, прославлявшей «великих людей»,—«Нисса» написана не Тредиаковским, а А. А. Нартовым. Версия об авторстве Тредиаковского, выразившаяся в помещении этого стихотворения в Смирдинском Собрании его сочинений 1849 г., отпала еще в 1867 г. после документального исследования Пекарского «Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755—1764 гг.».

Все это—вовсе не мелочи. Вспомним, что мы имеем дело со словарем. Уменье написать статью для словаря—особое искусство, и с точки зрения этого искусства мы и должны подходить к оценке тех или иных словарных статей. Я не изучал материал, предлагаемый «Литературной энциклопедией» по другим областям, но среди статей, относящихся к русской литературе XVIII в., есть такие, которые не выполняют требований, предъявляемых к словарной статье. Ограничиваюсь приведенными примерами, число которых можно было бы увеличить.

Я не хочу сказать, что весь материал «Литературной энциклопедии», посвященный XVIII в., целиком неудачен. Моя мысль другая. Мне хочется показать, что критерии точности, тщательности работы и осведомленности—в применении к статьям, относящимся к XVIII столетию,—и в этом издании, как и вообще нередко в нашем литературоведении,—иные, чем в применении к работам, посвященным истории литературы XIX или XX вв.

Я начал мою статью замечанием о некотором оживлении на фронте изучения XVIII в. Признаки и выражение этого оживления я склонен видеть например в некоторых статьях Д. Благого, помещенных в той же «Литературной энциклопедии». Среди других статей о XVIII в. статьи Благого выделяются. Я могу указать в том же издании и другой удачный материал, например статью «Журналы русские» (к теме моего обзора относится первый раздел статьи «Дворянские журналы эпохи расцвета крепостного хозяйства XVIII в.»); здесь дан сжатый, но четкий обзор журналистики XVIII в., выделяющий все основные ее моменты. Из работ Благого назову большую статью о Державине, также статьи о Карамзине и о русском классицизме. Конечно и они могут быть спорны, могут вызывать даже конкретные фактические возражения, но это не уменьшает их относительного интереса.

Статья о Державине, дающая систематизированный материал, относящийся как к биографии, так и к творчеству Державина, представляет собою первый опыт социологического истолкования творчества великого поэта.

Мне кажется, что вредит очерку Д. Д. Благого несколько преувеличенный и по-настоящему отчасти в индивидуально-личном плане биографизм, сужающий точку зрения исследователя. Впрочем наряду с тенденцией видеть в творческой манере Державина

отражение событий его личной жизни, в статье дано немало материала и о социальной природе его творчества.

Нельзя согласиться также с безоговорочной характеристикой «второй основной темы творчества» Державина—темы «неприязненного сатирического отношения к придворной знати, к «боярам». Хотя по существу положение о такой именно установке Державина конечно верно, но Благой делает из него слишком прямолинейные выводы. Ему надо доказать, что Державин «готов всячески приветствовать» представителей «новой знати», властителей России, вышедших из среднего дворянства, если они деятельны для государства; он аргументирует хвалебными одами Потемкину, Зубову и др. «Зато к старой родовой знати,—продолжает Благой,—обязанной близостью к трону не личным качеством и заслугам, а своему происхождению, Д. относится с беспощадной иронией, стоящей на грани прямой социальной ненависти». Развивая дальше эту тему, Благой как бы забывает о том, что ода «Вельможа», которую он приводит ниже как доказательство выпадов Державина против знатных, обработана отчасти и против Потемкина (уже умершего), что тот же Потемкин в оде «Решемыслу», написанной по прямому заказу императрицы, похвален все же более, чем двусмысленно, что в «Водопаде» он осужден и противопоставлен положительному герою поэзии Державина—Румянцову. Что же касается Зубовых, то следует вспомнить до дерзости ядовитые строки о П. А. Зубове в оде «На умеренность» (и в оде «На кончину благотворителя»). Державин сложен, нет необходимости упрощать его.

В статье о классицизме Благой дает общую характеристику этого литературного явления на русской почве. За последние годы нередко высказывалась мысль о том, что пристальное изучение фактов истории литературы разрушает старые понятия классицизма, сентиментализма, романтизма, выясняя, что эти понятия объединяют творчество писателей различных и иногда трудно совместимых. Эта мысль кажется мне верной лишь отчасти. Необходимо заново построить (на новых методологических основаниях) понятие об исторически существовавших и следовательно социально определенных стилях. Разнообразие же творческих путей писателей одного стиля не снимает вопроса об этом стиле, как некоем самостоятельном единстве, совершенно реальном, хотя и не составляемом суммой признаков всех осуществляющих его произведений. В то же время понятие стиля не образуется и примитивным отвлечением общих признаков произведений, его осуществляющих. Оно образуется прежде всего чертами, основополагающими тип социального мышления, определяющими данный круг явлений искусства, следовательно оно познается в характерных чертах этих явлений, а не в механическом суммировании или отвлечении.

Конечно такое понимание стиля, как исторически данного факта, осуществляемого в произведениях, требует нового пересмотра самых характеристик стилей. В этом смысле следует приветствовать попытку Д. Благого построить концепцию русского классицизма, тем более, что он свободен от ложной идеи «неоригинальности», ответственности этого стиля. Конечно статью Благого можно рассматривать как один из опытов, как начало будущих работ нашей науки; о построении законченной концепции говорить еще рано; нет ее еще и в других работах, до Благого разрабатывавших ту же тему.

Я не буду останавливаться на некоторых неточностях или неловких выражениях, появившихся в статье Благого.

Вообще говоря, отдельные фактические неточности ни под каким видом не могут служить поводом для осуждения научной работы. Едва ли мы сможем указать хоть несколько научных трудов, даже самых точных и наиболее полно обставленных материалом, в которых досужими «критиками» не могло бы быть указано ни одной мелкой «ошибки». Такие «ошибки» в серьезных, продуманных работах хорошо осведомленных ученых—случайности; они не характерны, и выискивание их было бы лишь праздным делом «ведомственного» злорадства. Иное дело—ошибки, неточности, неясности, являющиеся систематическим и органическим выражением отсутствия сведений, подготовки у автора или недостаточной продуманности, тщательности его труда. О таких неточностях, уже не случайных, а представляющих явление типическое, как об опасных симптомах следует говорить, показывая при этом их именно как результат общего характера данной работы.

«Литературная энциклопедия» в части своей (весьма незначительной), посвященной XVIII в., представляет собою, как я пытался показать, картину общего состояния нашей науки о литературе этой эпохи⁹. Итоги работ этого отдела науки суммировал в своем капитальном труде П. Н. Сакулин.

«Русская литература» П. Н. Сакулина, два тома которой вышли в свет при жизни автора, представляет собою по типу построения и изложения, по жанру научной

работы—вузовский курс. Основная задача этого обширного труда—прежде всего собрать все данные, добытые наукой в области изучения истории русской литературы, и привести их в систему, ввести их в схему, построенную составителем курса. Таким образом главное внимание автора было направлено в данном случае на цели собирания, подведения итогов и систематизации. Анализ общей схемы истории русской литературы, предложенный покойным ученым, не входит в поле зрения настоящей статьи. Для меня сейчас книга П. Н. Сакулина, в частности два тома ее, интересны именно как свод того, что было сделано наукой в различных ее проявлениях по изучению литературы XVIII века.

Самая широта Сакулинского подхода к работе, компилятивность его, граничащая с эклектизмом, приводит ко многим неудобствам, давая в то же время возможность ввести в изложение очень обширный материал. Правда, несколько искусственная схема, предписанная автором своему материалу, затрудняет его обозрение. Как известно, вся история литературы разделена П. Н. Сакулиным на эпохи, в свою очередь распадающиеся на периоды. Так литература с половины XVII в. до 60-х годов XVIII в. составляет 1-й период II эпохи, а литература от половины XVIII в. до 40-х годов XIX в.—2-й период той же эпохи. Но внутри периодов материал расположен не в последовательности хронологической-прагматической, а разделен по компромиссной и не всегда исторической системе рубрик: сначала идет литература крестьянская и близкая к ней (устная поэзия), потом литература мещанская и смежные с нею явления, затем «верхний слой литературы», разделенный на стили, а те в свою очередь—на жанры. Последнее особенно сильно сбивает всю эту сложную конструкцию. Читатель читает сначала все о классицизме, потом все о сентиментализме. Значит он сначала читает об Озере, Крылове, даже Грибоедове, воеводинцах, Батюшковых и т. д. (классики), а потом уже о Карамзине и даже его предшественниках. То же и внутри «стилей». Сначала идет речь о Грибоедове (драма), а потом о Хераскове (поэма) или В. Майкове или Сумарокове (басня) и т. д., а до всего этого—и до Хераскова, и до Грибоедова—дан Кольцов. Искусственная классификация литературных фактов привела к запутанному и непоследовательному изложению. Но если мы проберемся через трудности, поставленные читателю схематизаторским заданием автора, перед нами окажется целая груда материала. Это—все, что известно науке о XVIII в. Поразительная ученость П. Н. Сакулина ручается за полноту. Все, однако не много. Немало материала дано в сыром виде, почти названо только, но не раскрыто, характеристика нередко скупа, сводится к внешнему описанию; винить в этом автора курса нельзя. Он собрал то, что сделано в науке, а в науке почти ничего не сделано. И все же Сакулин сделал немало своим сводом; немало он добавил и своего.

Важно здесь то, что он не ограничился рассказом о том, что было написано наиболее известными писателями XVIII в., т. е. писателями по преимуществу дворянскими, но обратил внимание на «нижние» слои литературы, на ту книгу, которую потреблял читатель, не овладевший дворянской культурой,—мещанин, дворовый, мелкий, (а может быть и не только мелкий) купец, иной раз и малообразованный помещик-дворянин. Эта «мещанская» литература, сыгравшая значительную роль в истории всей русской литературы в целом, была в совершенном пренебрежении у науки XIX столетия. Среди немногих ученых, обратившихся к ее изучению, следует конечно назвать самого П. Н. Сакулина. Введение результатов (пока очень ограниченных и весьма мало дифференцированных) этого изучения в общий курс истории литературы—заслуга покойного академика. Положительное значение имеет и то обстоятельство, что П. Н. Сакулин вставил изложение судеб самой литературы в широкую рамку социально-исторических очерков (правда, аморфных в методологическом отношении) характеризуемой эпохи, что он учел и факты истории общей культуры, наконец и то, что он дает суммарные характеристики стилей как определенных художественных и мировоззрительных единств (тоже к сожалению не вполне четкие). Таким образом рама изложения и задумана, и выполнена широко. Но к сожалению рама подавляет картину; вернее, картины-то еще почти что нет, есть только наметка рисунка, кое-где подвешенная, кое-где подработанная более или менее детально.

П. Н. Сакулин считает нужным начать характеристику русского классицизма (второй период) с трагедии, «которая так импозантно представляла собою русский классицизм» (стр. 208). И тем не менее, всей русской трагедии от Сумарокова до Озерова включительно посвящено менее трех страниц в книге, в которой только лишь одним «Въжигиным» Булгарина посвящено 12 страниц (повестям молодого Погодина—4 страницы, трем повестям Павлова—6 страниц и т. д.). Эти три страницы, уделенные трагедии, заняты самыми общими замечаниями, в значительной части перечислением названий самих трагедий и тому подобным материалом. Полу-

чается такое впечатление, что автору нечего сказать о русской классической трагедии, что он не нашел в современной науке (тем более, в науке прошлых десятилетий) достаточно материала для хотя бы суммарной характеристики ее (конечно одна цитата из одного небольшого и уже устаревшего исследования одного из этапов развития русской трагедии недостаточна для построения такой характеристики).

Это же в большей или меньшей степени относится и к другим жанрам. П. Н. Сакулин—слишком добросовестный ученый, чтобы пересказывать малоосновательные «идеи»—предрассудки, идущие от Незеленовских времен и часто заменяющие анализ фактов литературы XVIII в., слишком литературовед, чтобы заполнять свой труд биографическими материалами или анекдотами, которых так много накоплено вокруг имен некоторых писателей XVIII в., хотя уделяет должное внимание и биографии. В результате от всего, накопленного наукой по части XVIII в., у него в руках остается очень, очень немного.

Традиция давит и на него. Он уделяет сравнительно много места «Россиаде»; ведь о «Россиаде» писали много со времен Мерзлякова; выделяли ее и ученые второй половины XIX в. Конечно о лирике Хераскова, о его работе в мелких жанрах вообще, едва ли менее значительных в истории русской литературы, чем «Россиада», в книге П. Н. Сакулина не говорится.

Перед читателем этой книги мелькают имена и названия, относящиеся к XVIII столетию. Автор как бы скользит по ним; ему трудно задержаться на том или другом из них из-за отсутствия материала. Я уже не говорю о том, что все изложение истории литературы XVIII столетия занимает гораздо меньше места, чем должно было, судя по началу, занимать изложение истории литературы XIX в. Это в порядке вещей, хотя едва ли можно до конца оправдать столь значительное неравенство (я учитываю и большую классовую дифференцированность, и идеологическую насыщенность литературы XIX в. и безусловно большую актуальность для наших дней). Но существенно здесь не столько количество, сколько именно неопределенность характеристик, недостаточная слаженность их, поскольку у некоторых произведениях автор не говорит почти ничего, другие показывает изложением фавулы, третьи рассматривает с точки зрения их идейной направленности, и т. п.; иной раз дается «формальный» анализ (при чем выбор объекта анализа и сторон его не всегда обоснован), иной раз его нет.

Характерен такой факт. Нет сомнения, что величайшим поэтом XVIII в. был Державин. Казалось бы, он должен был послужить благодарной темой для изложения П. Н. Сакулина. Но недаром Д. Благый закончил свою статью о Державине в «Литературной энциклопедии» словами: «Научное изучение поэзии Державина почти еще не начиналось». П. Н. Сакулин, подчиняясь тому материалу, который он смог найти в науке, уделяет творчеству Державина немножко меньше одной страницы крупного шрифта (33 строчки; через несколько страниц Державину опять посвящено... 4 строчки), т. е. почти вдвое менее, чем поэзии Подолинского, и менее, чем роману А. П. Степанова «Постоялый двор». Конечно ничего кроме общих слов о Державине на этой одной странице не уместилось.

III

Таковы общие итоги изучения XVIII в., подведенные авторитетными исследователями и коллективным изданием. Однако указанные выше суммарные обзоры вместе с «Литературной энциклопедией» не исчерпывают всего, что появилось за последние три-четыре года в области изучения XVIII в. Можно назвать целый ряд преимущественно строго академических работ (статей и статей), помещенных за этот период в различных научных сборниках и сериях и посвященных тем или иным отдельным темам и фактам литературы XVIII века.

Общий характер большинства работ этой группы прежде всего определяется крайней пристальностью подбора комментаторского материала, так сказать микроскопизмом или может быть близорукостью, кропотливой зоркостью, но лишь на коротком расстоянии, при полной или почти полной методологической аморфности. Чаще всего такие академические статьи представляют собою уточнение или приведение в известность материала, поданного в сыром виде, т. е. не введенного в концепцию историко-литературного процесса данного периода и не препарированного для какой бы то ни было концепции, материала, не обработанного достаточно четкой методологической установкой исследователя. Получается такое положение, что материал многих из таких статей не входит в науку.

Добавлю, что материал как сырье, как сумма справок, публикаций, комментариев и фактов неисчерпаем; никогда мы не можем сказать: довольно, мы перебрали все

факты эпохи. И если подбор материала для детального библиографического обследования идет самотеком, если темы и вопросы микроскопических разысканий всплывают случайно, то оказывается, что эти разыскания и обследования не могут даже в малой степени осветить всю толщу материала.

Конечно хорошо, что материалы появляются в печати, но уж очень неэкономно иногда получается, да и нецелесообразно опубликование их кусочками. Если пошло на публикации архивного материала,—вещь действительно полезная, то нужно издавать архивы, собрания, сборники и т. п. целиком, предоставляя исследователю цельный материал, дающий ему возможность глубоко захватить факты, связанные с социально-ценной проблемой.

Беда почти всей «библиографической» традиции нашего литературоведения заключается в том, что ее представители работают вне достаточно определенного представления об общих принципах исторического знания, вне достаточного учета конкретной исторической обстановки изучаемых явлений. Внеисторичность подхода к материалу не дает многим из них разобраться в материале. Материал оказывается лежащим на плоскости, т. е. лишенным социального значения; он не связан ни с временем ни с социальной группой, породившими его; памятник—некая отвлеченная фикция, так же относящаяся к нашему времени, как к тому моменту, когда его создал, скажем, поэт-помещик середины XVIII в. Реальный исторический облик тех людей, которых представлял в слове и к которым обращался памятник, ускользает от исследователя. Он интересуется «самим памятником», т. е. внешней историей словесной формулы,—формулы чего?—этого он нередко не замечает. Реальные исторические интересы, весь комплекс жизни, борьбы, отношений, в которых жило и работало произведение, для которых созидался стиль, все то, что именно и определяет принцип бытия и активности произведения и стиля,—все это мало привлекается, мало учитывается наукой. Нетрудно понять, почему такая наука, отрывающая литературу от человека, от общества, от социальной борьбы, от того, что составляет историю, может иной раз походить на коллекционерство.

Конечно история XVIII столетия разработана мало; конечно мы обладаем недостаточными сведениями о том, как протекала борьба классов, борьба социальных сил и групп общества от 30-х до 90-х годов этого столетия. Однако ведь кое-что и здесь все же сделано. С другой стороны, незачем литературоведу всегда кивать на историка—подождем, мол, когда он свое дело сделает, тогда и я за свое примусь. Разве историк литературы—не историк? Разве материал, изучаемый им, не является плодом творчества социальных сил данной эпохи? Разве может литературовед изучать материал художественного слова, не изучая тем самым—не попутно, а именно самым ходом своего исследования—исторического развития мысли, борьбы и жизни социальных групп, развития самого общества, и разве, если бы он попытался произвести такое «разделение труда», оно не убило бы объект его изучения—самое литературу? Между тем мы видим, как библиографическое изучение литературы XVIII в., разбираясь в датировках или указаниях авторов (иной раз, впрочем, и неудачно), вовсе не различает ни исторических периодов развития литературы, ни стилей, реализующих эти периоды в слове, ни борьбы социальных групп, стоящих за ними. Это ведь порок, свойственный в значительной степени не только «библиографическому» крылу литературоведения. Ставя почти в одну плоскость Сумарокова и Державина в смысле характеристики их художественного метода, слишком часто у нас забывают в то же время о той сложной борьбе внутри дворянства, о той дифференциации его, которая конструирует социальную историю «верхов» русского общества XVIII в. Между тем изучение этой борьбы, анализ исторического облика (экономики, политического мировоззрения, бытового типа, культурного характера) например вельможной, богатейшей, придворной группы дворянства, земельных магнатов и торгашей; вслед за ними группы поместной аристократии, ринувшейся на штурм власти, служебных мест, культуры,—и вовсе не безусловно победившей,—или например исследование судьбы расслоения и творчества зарождавшегося в конце века «третьего сословия», частью внутри сословной группы дворянства, частью вне ее, изучение образования этим «третьим сословием» своих позиций в искусстве—все это смогло бы насытить историю литературы XVIII в. содержанием.

Впрочем высказанные соображения конечно не могут быть распространены на все или даже почти на все статьи академического характера о XVIII в., появившиеся за последние годы. Я хотел лишь отметить ту особенность некоторых работ, которая дает себя чувствовать в продукции нашей академической науки (увы, все еще есть такая отдельная «академическая» наука!); эта особенность кажется мне недостатком, и поэтому мне хотелось бы обратить внимание на желательность преодоления ее. Я думаю, что эта особенность является пережитком старого, пережитком, оставшимся

от замкнутой, кастовой, отрешенной от жизни академической учености XIX столетия. Это была не наука буржуазных общественников-публицистов типа Пыпина, даже типа Незеленова. Это была наука тщательных и в своем роде блестящих библиографов, иногда одновременно и библиофилов, людей, великолепно знавших множество разнообразнейших фактов, знавших всю подноготную биографий всех русских писателей и большинства родственников и знакомых русских писателей, людей, создавших русскую библиографию, но сознательно и решительно отказавшихся от построения теорий, от «критики», от публицистического элемента науки, от активного воздействия на общественную жизнь передовых социальных групп средствами научного слова. Это была плеяда в своем роде замечательных деятелей, эрудитов и филологов, героев факта, даты, комментария; их «наука» была чаще всего реакционной даже с точки зрения буржуазно-прогрессивного лагеря, так как в ней были сильны традиции дворянских и даже монархически-чиновничьих взглядов,—но она оставила последующим поколениям значительный фонд материалов. Не случайно и то, что такая «академическая» наука XIX в. много занималась изучением XVIII столетия; она не очень любила современность, яростно отталкивавшуюся от эпохи дворянской литературы, от XVIII столетия в целом,—и ее тянуло в эту отдаленную, порицаемую буржуазной современностью эпоху.

Ранним представителем библиографического крыла русской науки был М. Н. Лонгинов. Немало сделал для собирания материалов по XVIII в. Я. К. Грот, потом М. И. Сухомлинов, В. И. Саитов и др.

«Фактовизм» современных эпигонов академической науки—лишь скромный наследник деятельности этих первых заимщиков, пионеров данной области. Весь идейный смысл (и разумеется социальное содержание) работ фактофиков и филологов XIX в. давно растерялся, поблек, забылся. Остался лишь интерес к факту, как таковому. Подлинные пути нашей науки лежат не здесь; здесь, на библиографических путях старой науки, ее эпигоны не могут выдержать даже приблизительного сравнения с нею. То, чему иногда посвящает несколько страниц, иногда целую статью, чем гордится как открытием современный продолжатель Грота, было бы дано самим Гротом в десяти строках петита какого-нибудь примечания к одному из стихотворений Хемницера или Державина, было бы дано Сухомлиновым в одном из тысяч его примечаний к «Истории Российской Академии», между десятками, сотнями таких же «открытий» и разысканий.

В прямом смысле попыткой продолжения комментаторской работы Я. К. Грота являются две статьи К. Я. Грота, разрабатывающие отрывки материала, бывшего в руках Я. К. Грота при издании им Собрания сочинений Державина и оставленного им без внимания (что без сомнения и правильно). В обеих этих статьях заметно стремление подобрать крохи, упавшие со стола знаменитого академика. Первая из них помещена в «Известиях по русскому языку и словесности Академии Наук СССР за 1930 г.» (т. III, кн. I, стр. 1—27) и называется так: «К истории творчества И. А. Крылова. Анонимные стишки на злобу дня»; вторая составляет один из «докладов», включенных в «Известия Академии Наук СССР» (VII серия, Отделение общественных наук. 1931, № 1, стр. 53—80) и называется: «Кто автор сатиры на первых министров Александра I. Из материалов по изданию Державина». Кстати замечу, что именно Академия Наук до сих пор уделяет на страницах своих изданий сравнительно много места библиографическо-публикаторским статьям о XVIII в.; традиции академизма времен Я. К. Грота еще достаточно сильно держатся (во всяком случае держались) в книжной продукции Академии Наук. Текущая жизнь, вся современность, все пути и перепутья науки последних десятилетий едва затронули академические издания, косневшие до последнего времени в мертвенном покое культа мелочей и материалов (я говорю конечно об изучении XVIII в.). Следует однако отметить, что в самое последнее время в академической книжной продукции наблюдается оживление; будем надеяться, что операция прививки полумертвому дереву свежих ростков пройдет удачно и принесет желанные плоды.

В архиве Я. К. Грота, оставшемся после издании им Державина, сохранилось несколько анонимных стихотворений конца XVIII—начала XIX в. Два из них привлекли внимание новейшего исследователя—К. Я. Грота. Первое стихотворение, написанное по поводу запрещения императором Павлом некоторых мод (широкие галстуки, длинные штаны и т. п.), К. Я. Грот приписывает И. А. Крылову. Вся первая статья занята доказательством этой мысли. Второе стихотворение К. Я. Грот приписывает Державину, и это составляет единственный тезис второй его статьи.

Но дело в том, что ни в первом, ни во втором случае К. Я. Грот не располагает ни малейшими существенными доказательствами авторства обоих поэтов.

Его статьи заполнены или не всегда идущими к делу сведениями, или соображениями, иногда натянутыми и не достигающими цели вследствие неполной достаточности собранного материала. Окончательно портит дело (в первой статье) неправильное понимание самого комментируемого текста (К. Грот считает его почему-то сатирой на Павла, тогда как это в высшей степени благонамеренное, даже льстивое по отношению к царю произведение; впрочем достоинством этой статьи является хотя бы то, что в ней напечатано стихотворение, ранее не бывшее в печати); вторая же статья построена примерно так: речь в ней идет об известной сатире начала XIX в. «Бостон», напечатанной уже трижды и сохранившейся во множестве списков. Прежде всего К. Я. Грот вновь печатает сатиру, приводя варианты из различных рукописных сборников, что впрочем не достигает цели полного обследования текста пьесы, поскольку использована лишь незначительная часть имеющихся в распоряжении науки списков сатиры, и следовательно выбор вариантов оказывается случайным.

Очень много места в своей статье К. Я. Грот уделяет рассказу о Гасвицком, приятеле Державина, у которого находился список «Бостона», о бумагах Гасвицкого, о Я. К. Гроде и его сношениях с потомками Гасвицкого и о т. п. вещах, смею думать, далеко не существенных, да и к теме статьи мало относящихся. Наконец он приступает к самому главному: кто автор «Бостона»?—Державин. Почему?—Неизвестно. Но Державин обруган в «Бостоне» наравне с другими сановниками.—Тем лучше: это самокритика (так и сказано), которая только лишь подтверждает «догадку» исследователя.

Кроме того автор «Бостона» хорошо осведомлен по части характеристики правительственных деятелей; Державин тоже был хорошо осведомлен по этой части. Ergo: автор и Державин—одно лицо (прекрасный пример элементарной ошибки в доказательстве для учебника по логике).

Далее идут доказательства от впечатления исследователя и подробнейший реальный комментарий к пьесе, тоже долженствующий доказать авторство Державина (на этом комментарии за недостатком места я не могу остановиться; впрочем и о нем можно было бы потолковать). Наконец «еще одно, быть может наиболее разительное и убедительное подтверждение обоснованности нашей догадки—как бы из уст самого поэта». Оказывается, это «разительное» доказательство сводится к тому, что Державин (и тоже в старости) написал такое четверостишие:

Доказательство талантов.

Надлежит всякое полезно сочиненье

Вельможам доказать чрез вист, бостон и рокамболь,

А без того царю, отечеству раченье

(у нас) пред ними ноль.

Между этим четверостишием и сатирой «Бостон» нет ничего общего, кроме одного слова «бостон». Неужели же К. Я. Грот может поручиться, что это слово не употреблено более ни разу ни одним поэтом начала XIX века?

В заключение исследователь легко справляется с существенным затруднением: отсутствием в огромном архиве Державина, в его комментариях к своим стихотворениям, в его «Записках» и переписке хоть какого-нибудь намека на его авторство. Это, мол, из-за осторожности Державина. Не буду напоминать ряд явственных доказательств отсутствия у Державина такой невероятной и вовсе ненужной осторожности.

Каков итог двух обширных статей К. Я. Грота? Груда мелких комментаторских фактиков, почти целиком ненужных науке, и соображения, ни в малой мере не убедительные. Все это лишено хоть какой-нибудь принципиальной позиции, лишено даже признаков какой-нибудь общей концепции вообще о творчестве Крылова, Державина, о поэзии их эпохи и т. п. Автор изобавлен от необходимости иметь историко-литературную концепцию и методологическую позицию своей ролью комментатора. Беда лишь в том, что его комментарий раздут и неудачен.

Право, является мысль,—неужто нужно было отдавать на обе статьи К. Я. Грота 55 страниц научного издания, когда огромные массивы неизданных материалов первостепенного значения лежат мертвым грузом в наших архивах?

Попытка воскресить библиографическую традицию на новых основаниях, попытка привить библиографически-комментаторскому собирательству какую то, хотя бы самую скромную, методологическую принципиальность проявилась в статьях П. Н. Беркова. Первая из них—«Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке» (Язык и литература. Сборн. Научно-исслед. инст. сравнит. истории литерат. и языков Запада и Востока, т. V, 1930). Эта тщательно сделанная статья представляет собою

отрывок из диссертации «Ранний период русской литературной историографии». Я не останавливаюсь на ней, поскольку тема ее не относится прямо к вопросам, интересующим меня в настоящем обзоре (это—работа по историографии, а не по истории литературы; кроме того материал ее—западная наука, а не русская; наконец немалая часть материала относится к периоду до и после XVIII в.). Вторая статья Беркова относится к целому циклу из трех статей трех авторов, напечатанных вместе в «Известиях Академии Наук СССР» (VII серия, отд. Обществ. наук, 1931, № 8) и посвященных одному и тому же вопросу. Дело в том, что в 1768 г. в одном лейпцигском журнале была напечатана (по-немецки) анонимная статья о русской литературе, заключающая характеристику 42 русских писателей. Позднее та же статья была издана с незначительными изменениями на французском языке отдельно (в Ливорно—дважды, в 1771 и 1774 гг.). По указанию редакции лейпцигского журнала автор этой статьи (значение ее в истории русской литературы довольно велико) сам упомянут в ряду разобранных в ней писателей. Требуется установить—кто был этот автор? Вопрос этот имеет уже почти полустолетнюю историю. Ученые предлагали различных кандидатов. И вот теперь трое советских исследователей решили вновь поставить его. Они дают на него не одинаковый ответ. П. Н. Берков (статья «Кто был автором лейпцигского известия о русских писателях?») настаивает на кандидатуре Ал. Волкова. А. И. Лященко («С. Г. Домашнев как автор Известия о некоторых русских писателях (1768)») и Д. Д. Шамрай («С. Г. Домашнев и «Nachricht von Einigen Russischen Schriftstellern») поддерживает кандидатуру С. Домашнева.

Статья П. Н. Беркова интересна тем, что в ней кроме аргументов внешне библиографического и биографического порядка (подобренных весьма тщательно) применен также анализ интересующего исследователя памятника с точки зрения литературной и социальной позиции его автора. Жаль только, что, разбирая (отчасти расплывчато) литературные взгляды искомого автора статьи, П. Н. Берков не дал разбора литературного творчества А. Волкова (его комедий), вследствие чего читатель не имеет возможности полностью использовать и имеющиеся историко-литературные замечания статьи. Вообще же статья П. Н. Беркова, значительная в смысле серьезности приемов работы исследователя, все же не решает загадки окончательно. Соображения П. Н. Беркова убедительны, но не совсем исключают других кандидатов, из которых указывают одного, едва ли не еще более вероятного (я имею в виду неизданную к сожалению работу Б. В. Томашевского, поддерживающего выдвинутую В. Н. Всеволодским-Гернгросс в его книге о И. А. Дмитревском, а еще ранее П. Пекарским в «Истории Академии Наук» версию об авторстве В. Лукина). Что же касается статей А. И. Лященко и Д. Д. Шамрая, то они не могут представить достаточно убедительных соображений для принятия предположения об авторстве Домашнева. Впрочем можно приветствовать некоторое оживление, внесенное дискуссией (хотя бы на столь «академическую» тему) на страницы академического издания.

Более сухой характер имеет статья П. И. Рулина «Русские переводы Мольера в XVIII в.» («Известия по русскому языку и слов. Академии Наук», т. I, кн. I, 1929 г., стр. 221—244). Это свод материала, сырое библиографическое разыскание, более того: это лишь дополнения и поправки к имеющимся уже работам о Мольере в России. Выгодно выделяет статью Рулина, знатока русской комедии XVIII в., обилие разработанного им материала, широта библиографической эрудиции, точность и обдуманность указаний. Тем не менее статья производит впечатление мертвенности. Мы узнаем из нее ряд фактов—кто, как, когда и по какому поводу переводил Мольера, при чем автор останавливается главным образом на наиболее запутанных вопросах, относящихся к началу XVIII в., а материал более поздний, относящийся к периоду развернутого Мольеровского влияния,—как более известный и не представляющий библиографических затруднений,—затрагивает бегло, мимоходом. В результате цельной картины, несмотря на тщательность исследования, не получается даже в чисто фактическом смысле. Статья оказывается лишь черновой заготовкой для какого-то будущего труда, для которого понадобится еще конечно очень много таких же заготовок, чем-то вроде подстрочных примечаний к несуществующему научному тексту.

Статья Рулина, без сомнений ценная, подводит нас к теме, затронутой в литературе с тщанием, сравнительно значительным, именно к изучению комедий Сумарокова.

За последние годы о Сумароковских комедиях писали Н. Л. Бродский, П. И. Рулин, В. А. Филиппов, В. И. Резанов. Статьи последних двух и одна из статей Рулина появились в 1928—1930 гг.

Работа П. И. Рулина «Первая комедия Сумарокова» напечатана в «Изв. по русскому яз. и слов. Акад. Наук» за 1929 г. (т. II, кн. I, стр. 237—269; написана статья значительно раньше). Она дает тщательный подбор материалов о комедии

«Тресотиниус» как относящийся к реальному комментарию ее, так и к вопросу об источниках комедии. Исследователь использовал в своих разысканиях множество материала; как всегда, он работает осторожно и точно. Однако выводы, к которым он приходит, несколько сужены. В области реального комментария (пьеса представляет собою памфлет против Тредиаковского) Рулин не сообщает новых материалов или соображений, довольствуясь сводкой сведений, известных в науке. Что же касается вопроса об источниках (о «традициях») Сумароковской комедии, то он разрешен в статье не без механической упрощенности. Автор сличает мотивы комедии Сумарокова с соответственными мотивами в пьесах Мольера и Гольберга, которыми мог (как это тщательным образом установлено Рулиным) воспользоваться Сумароков; кроме того он привлекает к рассмотрению и другие комедии разных авторов. Сличение показывает черты сходства, с некоторыми однако существенными отменами. Одну из них Рулин формулирует как упрощение, сокращение фабулы, действующих лиц, сложности психологии Мольера; другую—усиленное хвастовство заимствованного у Гольберга воина—Брамарбаса относит за счет влияния *commedia dell'arte*. Последнее очень важно, так как вопрос о влиянии на Сумарокова-комика итальянской комедии должен быть поставлен и разрешен наряду с вопросом о зависимости Сумароковских комедий от традиций школьных и «народных» интермедий, фарсов начала XVIII в. Ведь первые комедии Сумарокова по всей своей драматической и сценической технике ближе к этим традициям, чем к традиции высокой комедии французского классицизма.

Между тем именно этот основной вопрос (как бы его ни решать)—о том, что собою представляют комедии Сумарокова, в частности первая его комедия, какой исторический тип драматургии реализовался в них,—не поставлен в статье Рулина, так же как не поставлен и вопрос о том, каковы основы социального мировоззрения, выразившиеся в Сумароковской комедии. Между тем только исходя из широкой постановки вопроса, можно было бы до конца осмыслить и тот сам по себе ценный материал, и те сопоставления и соображения, которые заключены в статье Рулина.

Почти той же теме, что статья Рулина, посвящена и работа В. А. Филиппова «К вопросу об источниках комедий А. П. Сумарокова. Мольер. Итальянская комедия. Современная действительность» (то же академич. издание 1928 г., т. I, кн. I, стр. 184—220). В. А. Филиппов анализирует главным образом три комедии Сумарокова: «Рогоносец по воображению», «Чудовищи» и тот же «Тресотиниус». Мысль его статьи сводится к тому, что комедии Сумарокова лишь в малой мере зависят от литературных образцов, являясь отображением бытовой реальности. Разрабатывая эту мысль автор не выходит, однако, за пределы того упрощенного, схематического понимания реалистического искусства, которое было канонизовано старой либерально-дидактической историографией. Кроме того нет необходимости здесь доказывать, что и реалистическое искусство может создаваться не без литературных влияний; кроме того самая странность доказательства мысли о «реализме» Сумароковских комедий не может не дискредитировать материал статьи (как будто наличие в окружающей действительности реальных Сумароковских комедий прямо и непосредственно предопределяет метод изображения этой действительности—реалистический или иной). Никакого историко-литературного представления о Сумарокове как художнике у автора статьи нет. Он заменяет его сырым материалом, не всегда новым и не слишком обильным (не всегда даже вполне верным). Ценной чертой статьи является указание на связь техники Сумароковской комедии с техникой *commedia dell'arte* и «южно-русскими интермедиями», указание, хотя намеченное весьма бегло, но подкрепленное кое-каким материалом (впрочем недостаточным)¹⁰.

Той же теме, что статья Филиппова и отчасти статья П. И. Рулина, и притом разработанной в той же плоскости и почти на том же (но до крайности суженном) материале, посвящена статейка В. И. Резанова «Из разысканий о комедиях Сумарокова (отрывки)», помещенная в сборнике «Памяти П. Н. Сакулина» (М., 1931, стр. 233—238). Опять речь идет о «Тресотиниусе» и о «Чудовищах». Выводы автора о последней комедии следующие: «Комедия Сумарокова «Чудовищи» писалась под влиянием «Ученых женщин» и «Брака поневоле» Мольера и какой-то или каких-то пьес итальяно-французских с Арлекином в числе главных действующих лиц. К своим литературным источникам наш драматург отнесся однако очень самостоятельно и, заимствуя в общих чертах образы, типы и ситуации, в разработке деталей, характеристике и обрисовке действующих лиц исходил из собственных наблюдений окружающей русской жизни».

После работ Филиппова и Рулина статейка В. И. Резанова в значительной мере теряет значение. Вот пример бесплановости распределения сил в науке: трое ученых продвигают одну и ту же работу, а целый ряд важнейших тем ждет своих исследователей.

К тому же кругу вопросов—о ранней комедии XVIII в.—относится еще статья В. Филиппова «К вопросу об источниках шутовской комедии. Из истории русского мольеризма» (тот же сборник «Памяти П. Н. Сакулина», стр. 296—304). Это—небольшое разыскание чисто фактического характера о любопытном памятнике русской драматургии первой половины XVIII в., изданном в свое время акад. В. Н. Перетцом. В. Филиппов приходит в своей статье к следующим выводам: 1) Комедия представляет собою перевод с французского (или переделку) итальянской Арлекинады (может быть через посредство польского текста)... и т. д. 2) Комедия, имея много точек соприкосновения с *Le Malade Imaginaire*... является переводом или переделкой прототипа многих Мольеровских комедий, в чем нас убеждает общность ряда комических моментов нашей пьесы с целым рядом пьес Мольера. 3) Сцены и фигуры... доморощенного происхождения слишком ничтожны, чтобы на основании их искать автора среди противников Петровской эпохи...

К этому же кругу исследований комедии относится заметка Б. В. Варнеке «Стили русской драмы XVIII в.» («Slavia», 1929, № 1), в которой намечен вопрос о реалистических элементах русского классицизма (и указаны сближения черт стиля русской драматургии с течениями западной живописи).

Отмечу также статью С. А. Щегловой «Неизвестная драма Петровской эпохи о царице и львице» (Труды комиссии по древнерусской литературе Академии Наук СССР, т. I, 1932, стр. 153—229). Здесь кроме публикации текста самой драмы дана статья о ней, обширная, весьма тщательно сделанная, но построенная по типу только лишь комментария к тексту. Общей историко-литературной концепции в статье, несмотря на большие знания ее автора, не дано.

Из других тем о литературе XVIII в., затронутых наукой последних лет, следует особо выделить вопрос о «низовой», не-дворянской литературной продукции этой эпохи. Разработка этого вопроса, выдвинувшегося только за последние десятилетия, составляет одну из первоочередных задач нашего литературоведения, и всякие начинания в этой области следует приветствовать. Справедливость требует отметить, что не все эти начинания приводят к вполне удачным результатам. Трудность вопроса заключается как в новизне его, так и в неопределенности, общности, разнообразии материала, подлежащего обследованию. Что читал, что потреблял в области литературы грамотный человек, для которого Сумароков или Херасков были чужды и который сам был чужд культуре и читательской установке и помещика, и придворной «знати»? И сказки, и книги типа Бовы, и книги, составляемые Чулковым, и песни М. Попова, и так называемые народные песни, и переводные романы, и рукописи, унаследованные от XVII в. и ранее, и, в первую очередь, Псалтырь. В этом море материала, проблем, отдельных конкретных загадок как связанных с литературными памятниками, так и с вопросами о том, кто был и что собою представлял их читатель, нетрудно конечно утонуть. Поэтому обычно осторожные исследователи приступают к изучению вопроса, начиная с мелочей, и это очень досадно. Так например, академик В. Н. Перетц сообщает неизданный материал, необычайно интересный, важный, но воздерживается от соблазна окружить этот материал другим, аналогичным или смежным, воздерживается и от широких обобщений на основании его, которые столь глубокий знаток вопроса, как В. Н. Перетц, именно и мог бы сделать. Статья В. Н. Перетца называется «Неизвестные подражатели кн. А. Д. Кантемира» («Изв. отд. русск. яз. и слов. Акад. Наук СССР» 1926 г., т. I, кн. 2, стр. 335—357); в ней напечатаны и прокомментированы три произведения поэтов из круга семинарских интеллигентов, написанные в духе сатир Кантемира. Что касается комментария, то он сделан конечно отчетливо, хотя кое-какие замечания все же можно сделать о некоторых его частностях¹¹.

Интересно ставит вопрос о низовой литературе В. П. Адрианова-Перетц в статье «Басни Эзопа в русской юмористической литературе XVIII в.» («Изв. отд. русск. яз. и слов. Академии Наук» 1929 г., т. II, кн. 2, стр. 377—400). В. П. Адрианова дает довольно серьезный анализ неизданного памятника «низовой» литературы, переработки басен Эзопа, указывает источник переработки, дает характеристику ее, в конце затрагивает вопрос о ее анонимном авторе. Сам по себе интересный материал взят все же несколько узко, т. е. не окружен всей традицией близких с ним явлений и не истолкован достаточно принципиально.

В. П. Адриановой принадлежит еще одна заметка, посвященная также мало известному участку «низовой» литературы; это заметка о «Юмористических лечебниках», помещенная в «Сборнике отд. русск. яз. и слов. Академии Наук», т. 101 в честь А. Н. Соболевского (1928 г.).

В том же сборнике напечатана статья Е. Масловой, посвященная одному мелкому вопросу в области изучения печатной «низовой» литературы; к сожалению вопрос,

обследованный Е. Масловой, уж слишком мелок, тогда как он относится к проблеме, настоятельно требующей освещения, и к кругу литературы, настоятельно требующему пристального изучения на широком социологическом фоне. Дело идет о литературе типа Кургановского письмовника, о всевозможных сборниках анекдотов, забавных новелл и т. д., получивших широкое распространение во второй половине XVIII в. в связи с появлением в литературе нового читателя, в связи с существенными фактами социальной истории страны. Е. Маслова в статье устанавливает, что М. Семенов, издавший третий том изданного ранее в 2-х томах его отцом сборника анекдотов «Товарищ разумный и замысловатый», большую часть анекдотов для своего сборника заимствовал из письмовника Курганова (статья так и называется «К истории анекдотической литературы XVIII в. «Товарищ разумный и замысловатый», ч. III Мих. Семенова и «Письмовник» Курганова»).

Вопросам фольклорной (тоже «низовой») поэзии XVIII в. посвящена статья П. М. Соболева «Песенники 90-х годов XVIII века», помещенная в журнале «Литература и марксизм» (1928, т. VI). Эта статья отмечена значительной широтой поставленных в ней вопросов и серьезной методологической установкой автора. Материал статьи несколько ограниченный, что вредит работе, но на основании его автор сумел затронуть общую проблему взаимоотношения словесного фольклора с книжной литературой «высших» социальных слоев. В статье Соболева нет конечно и тени увлечения самоцельной библиографической работой. Желательно было бы лишь привлечение более значительного материала, так как большее число разработанных текстов сделало бы его работу более обоснованной.

Интересный материал своеобразного полуфольклорного (но письменного) типа дает А. Д. Седельников в статье «Плач-памфлет о крепостной доле (неизданная редакция)» («Литература и марксизм» 1931 г., кн. IV, стр. 126—136). Автор статьи совершенно справедливо указывает, что мы очень мало имеем литературных памятников, освещающих «положение крепостных с их собственной точки зрения». Тем более ценна каждая находка в этой области. Напечатанный А. Д. Седельниковым текст четко распадается на две части, без сомнения представляющие собою отдельные произведения, и напрасно А. Д. Седельников рассматривает второе из них—своего рода интермедию (ср. со сборником «Одиннадцать интермедий XVIII века». Памятники древней письменности, вып. 187, 1915 г.)—как заключение первой—«Просьбы в небесную канцелярию от экономических крестьян».

Помимо анализа состава обоих произведений об этом говорит и то, что первая основная часть текста, печатаемого А. Д. Седельниковым,—не новинка. Она была уже опубликована в 1875 г. в «Русском архиве» (т. III, стр. 255—256—«Старинное острословие. Прошение в небесную канцелярию») и потом вновь в том же «Русском архиве» 1908 г. (т. III, стр. 215—217; публикация П. Юдина «Жалоба саратовских крестьян на земский суд»). В первом издании она дана в тексте лишь мало отличающемся от текста А. Д. Седельникова и закончена 7-й строфой, так же как и у Седельникова, явно заключительной. На том же месте кончается и публикация второго «издания» плача в «Русском архиве», несколько отличная по тексту (вообще трудно представить себе такое соединение драматической формы с пародией на прошение).

Хотя первая часть публикации А. Седельникова и не дает нового материала, она любопытна хотя бы по тем разночтениям (не меняющим смысл, но кое-где уточняющим его), которые имеются в ней по сравнению с текстом «Русского архива»; жаль только, что А. Седельников, от внимания которого повидимому ускользнули тексты «Архива», не сличил всех трех текстов. Кроме того, не говоря уже о второй части публикации, А. Д. Седельников сопровождает издаваемый текст толково составленной статьей-комментарием социально-исторического, историко-литературного, реального и специально филологического характера.

К статье А. Д. Седельникова примыкает ценная статья В. Ржиги «Первые начатки крестьянской литературы» («Земля Советская» 1931 г., кн. 7, стр. 88—92). В. Ржига правильно и своевременно ставит вопрос о выделении крестьянского творчества XVIII в. из общей массы «низовой» литературы, обслуживавшей конечно в первую очередь представителей иных, более привилегированных общественных групп. Он прав, настаивая на том, что в среде крестьянства появлялись элементы самостоятельного творчества, опирающиеся на свою собственную идеологию. При этом он учитывает наличие дифференциации крепостной массы.

Статья В. Ржиги посвящена, собственно говоря, публикации двух повестей-анекдотов, относящихся к середине XVIII в., изображающих похождения крестьян и отражающих, по мнению исследователя, их точку зрения. Существенным недостатком работы является то, что в ней только лишь изложено содержание обеих повестей и приведены цитаты из них (немногочисленные). Следовало бы конечно

напечатать повести целиком. Отказ от этого сильно понизил значение публикации В. Ржиги для науки. Если же автор имел в данном случае в виду популярность своей статьи, то ведь он мог подойти к делу и иначе, дать например текст повестей в приложении и т. п. Конечно очень хорошо, что В. Ржига показал своей статьей опыт оживления литературы XVIII в.; социологическая постановка вопроса сделала публикацию более глубокой, действенной, чем если бы повести были опубликованы по принципам старой академической науки; но он упустил из виду, что подлинность текста, непередаваемый никаким изложением содержания характер самого склада речи рассказчика старинной повести с его прибаутками, рифмованным разговорным языком и т. п.—все это, сохраненное в печати, может сделать публикацию только более нужной и более полно воспринимаемой нашим читателем (другое дело, что следовало бы может быть, публикуя полный текст повестей, дать вместе с тем нечто вроде их перевода на современный язык). Нельзя также не пожалеть о том, что В. Ржига использовал в своей статье не весь материал о крестьянской литературе XVIII в., доступный исследователю. Все же его статья—хороший почин; уже то, что она появилась в массовом журнале,—очень положительное явление в истории развития нашего знания о XVIII столетии.

Материал XVIII в. слегка затронут в небольшой статье В. Зельцер «У истоков фабричной поэзии» («Лит. и марксизм» 1928, кн. V, стр. 107—114), ставящей вопрос о начальном периоде рабочего фольклора в России, вопрос, существенный для науки, при этом ставящей его в марксистском освещении.

Несколько в стороне от этих работ стоит публикация Н. Г. Богдановой «Стихи XVIII в. о рукокопном деле» (Труды комиссии по древнерусской литературе Академии Наук СССР, т. I, 1932, стр. 231—246), в которой напечатаны примечательные стихи аннинского времени, возникшие на крупном промышленном предприятии. Это—стихи официальные, одически-хвалебного типа, но они дают не только интересное добавление к существовавшим в науке сведениям о распространении и характере «классической» силлабической поэзии, но и материал, не безразличный для истории промышленности и техники в России в XVIII в. Небольшая деланная статья при публикации заключает только лишь внешне исторический комментарий к тексту, к сожалению не давая ни экономического, ни историко-технического, ни историко-литературного объяснения его.

Проблеме «низовой» литературы XVIII в. отчасти посвящена книга В. Б. Шкловского «Матвей Комаров, житель города Москвы» (1929 г.). В книге идет речь о Комарове, составителе ряда книг, расхвалившихся в «низовой» среде.

Я уже имел случай весьма подробно остановиться на этой книге (см. «Звезда» 1930, № 1. Статья «В. Шкловский как историк литературы»); это избавляет меня от необходимости говорить о книге В. Шкловского здесь, поскольку я могу отослать любопытного читателя к указанной статье. Скажу лишь, что если проблема, за разработку которой взялся В. Шкловский, и актуальна, и крайне интересна, то все же книгу В. Шкловского следует признать ни в какой мере не приближающей нас к разрешению этой проблемы. Методологическая позиция автора представляет собою образец идеологической эклектики. Материал (а книга в значительной мере представляет собою пересказ и монтаж кусков книг Комарова) не приведен в систему. В. Шкловский хочет «открыть» низовую литературу XVIII в., уже открытую до него. Высказывания Шкловского об этой литературе также или не новы, или совершенно необоснованы, даже не всегда осторожны. Кроме того книге Шкловского вредит немалое число фактических ошибок, показывающих, что осведомленность его в материале XVIII в. весьма недостаточна, так же как степень тщательности в обработке этого материала. В результате книга ничего не дает читателю; она неинтересна, хаотична и ненаучна.

Книга Шкловского—лишнее доказательство мысли, не раз всплывающей в изложении настоящей статьи, о недопустимом пренебрежении науки к XVIII в. русской литературы. Она показывает воочию, что в области изучения XVIII в. наши литературоведы иной раз решаются выступать с таким багажом знаний, с таким уровнем теоретической продуманности вопросов, с которым не пришлось бы в голову выступить в печати никакому исследователю XIX столетия, будь он даже самый юный и самый решительный человек.

К темам о «низовой» литературе примыкает тема статьи В. С. Нечаевой «Русский бытовой роман XVIII века. М. Д. Чулков» (ученые записки Ин-та языка и литературы Ранион, т. II, 1928, стр. 5—41). М. Чулков как романист, так же как во всех других отношениях,—один из наиболее замечательных деятелей литературы XVIII в. Напомнить о нем весьма полезно. Работа В. Нечаевой имеет однако ученический характер. Она именно только напоминает о романе и новеллах Чул-

кова, не углубляясь в их исследование и недостаточно окружая их анализ материалами современной Чулкову литературы.

Переходя к другим отделам истории русской литературы XVIII в., следует сказать, что в большинстве случаев мы сталкиваемся здесь со статьями и заметками публикаторского или библиографического характера. Так А. И. Малеев сообщает о новонайденных трех письмах Тредиаковского от 1731 г. («Новые данные для биографии В. К. Тредьяковского». Упомянутый сборник в честь А. И. Соболевского), но печатает почему-то только одно из этих писем (и то повидимому не полностью, и еще 4 строчки из другого); опубликованный им текст очень интересен, но нельзя не подосадовать на то, что не дан полный текст всей находки.

В том же сборнике В. Ф. Шишмарев дает разыскание о книге «Повесть славного Гаргантюа» (1790 г.; книга—не перевод из Рабле, а перевод другой обработки легенды о Гаргантюа), а В. Маслов сообщает о появлении Оссиана в русском переводе еще до ранее учтенных наукою изданий: в переводе Гетевского «Вертера» (1781 г.), где даны большие куски Оссиановского текста (статья называется: «К вопросу о первых русских переводах поэм Оссиана—Макферсона»).

А. Н. Филиппов в своей статье «И. П. Пнин и его опыт о просвещении относительно к России» («Изв. отд. русск. яз. и слов. Академии Наук СССР» 1929, т. II, кн. 2) сообщает неизвестные доселе авторские вставки в текст «Опыта», подвергшегося, как известно, цензурным гонениям; кроме того А. Н. Филиппов дает характеристику взглядов Пнина на крестьянский вопрос в связи с публикуемым материалом. Только публикацией материала лишь с самым необходимым комментарием (по преимуществу текстологическим и библиографическим) является работа С. П. Шестерикова «Из неизданных стихотворений Д. П. Горчакова» («Изв. отд. русск. яз. и слов. Академии Наук» 1928, т. I, кн. I, стр. 154—183). Библиографический аппарат исследования—на высоте самых строгих требований. Однако жаль, что, публикуя тексты Горчакова, весьма примечательного сатирика конца XVIII в., С. П. Шестериков ограничился тем рукописным материалом, который оказался в его руках, и не расширил своей задачи привлечением других текстов, которые можно было бы разыскать в архивах.

В журнале «Штурм» (1931 г., № 8—9, стр. 81—82) появилась заметка З. Л.—ва «Поэт Державин и крепостное крестьянство», сообщающая сведения о крестьянских волнениях, происшедших в поместьи Державина после его смерти в связи с его предположениями освободить своих «подданных» по завещанию.

Ни в какой мере не библиографический характер имеют следующие статьи о литературе XVIII в.:

Б. И. Ярхо, Ритмика так называемого «Романа в стихах» (т. е. полустихотворной анонимной повести, изданной В. В. Сиповским в «Русских повестях XVII—XVIII вв.»); Л. И. Тимофеев, Силлабический стих; Л. И. Тимофеев, Вольный стих XVIII в. (все три статьи помещены в сборнике «Ars Poetica», изданном ГАХН в 1928 г., т. II под ред. М. А. Петровского и Б. И. Ярхо); затем В. Архангельский, Крылов как писатель («Лит. и маркс.» 1930, кн. IV—V, стр. 98—120).

Первые три статьи, хотя используют для своих построений материал допушкинской поэзии, относятся скорее к теоретической поэтике, чем к истории литературы; поэтому я обойду их молчанием, воспользовавшись возможностью не вчитываться в невыносимо скучный текст, страдающий пристрастием к статистике, часто подменяющий постановку теоретических проблем стиха механическим подсчитыванием тех или иных его проявлений, внешним «описанием» отдельных элементов техники метра (замечу в скобках, что в статье Л. И. Тимофеева о силлабическом стихе, если читатель проберется через весь этот лес ненужной цифири, он найдет правильную и по существу новую концепцию русской силлабики). Некоторые попытки исторически осознать изучаемый материал наблюдаются у Л. И. Тимофеева. В конце второй своей статьи он дает даже попытку социологически обосновать свою работу; это «заклчение» производит впечатление искусственного придатка к статье¹².

Совершенно иной характер имеет статья В. Архангельского о Крылове.

Статья дает весьма суммарную, беглую характеристику Крыловского творчества, спешный пробег по всем его этапам. Ряд кардинальных вопросов, связанных с литературной деятельностью Крылова, не поставлен. Анализ мировоззрения Крылова, а в связи с этим и его социальной позиции краток, использует слишком мало материала и потому носит характер поверхностности. Анализ стиля конечно отсутствует (нельзя назвать анализом несколько ничего не говорящих замечаний).

Автор хочет сделать свою работу марксистским исследованием. Но он вводит в круг своего рассмотрения так мало фактов и настолько приблизительно исследует их, что трудно извлечь из его статьи сколько-нибудь отчетливую и стройную систему суждений о социальной природе творчества Крылова. Впрочем в конце статьи автор сводит все свои замечания воедино: «Какова же общая социологическая формула Крыловского творчества?—Оно созрело под знаком проникновения буржуазных отношений в феодальное общество. Крылов выражал устремление мелкого служилого дворянства, генетически связанного с мелким помещьем. Фигура обличителя общественных пороков в феодальном обществе является центральной в творчестве Крылова, в процессе своего развития приобретая различные черты и различные функции. Трагедия расточительства—основная тема в его творчестве. Идеология Крылова является проводником идей неограниченного самодержавия и борьбы с ограничением самодержавия в пользу аристократической олигархии. Оппозиционность Крылова самодержавного происхождения. Ее умеренно радикальный в начале творчества Крылова характер в последний период его творчества принимает форму протеста против всякого прогрессивного движения, направленного в сторону ограничений централизованного абсолютизма.

Стиль Крыловского творчества—поместный стиль в стадии преодоления классических традиций и перехода к реалистической манере письма (мелкопоместный стиль)». И т. д.

Может быть основное во всем этом и не неверно, но насколько обще, неточно, неразвито, недоказано! Текст статьи мало прибавляет к этим суммирующим ее положениям.

Беда статьи конечно в том, что она недостаточно точно представляет окружение Крылова, не учитывает фактов современной ему литературы и истории вообще. Автор понимает «классицизм» в литературе как нечто обязательно «высокое» и мифологическое (аллегорическое)—представление не только расплывчатое и неполное, но и неверное. Однако же он считает, что «к комедии Крылов пришел через отрицание классической пиитики», хотя комедия, и именно такая, какие писал Крылов,—один из основных жанров русского классицизма. «Такова внутренняя диалектика его драматического творчества», замечает далее автор. Таким же образом он считает почему-то комическую оперу «в известном смысле общественной реакцией на классическую трагедию»; о сатирических статьях Крылова он говорит, что в них «Реалистическая манера изображения действительности преобладает над аллегорической... классические традиции дают себя чувствовать лишь в отдельных случаях, когда они привлекаются писателем лишь в качестве аксессуаров для аллегорического оформления»; как будто самый «классический» из русских писателей, Сумароков, обязательно пользовался аллегорией или мифологией в своих сатирических произведениях, как будто вообще аллегория—главный признак классицизма, как будто речь идет о реализме в духе Толстого, а не о том реализме, который был в высшей степени свойствен именно русскому классицизму. Нельзя отрывать изучение Крылова-сатирика от изучения сатирической и публицистической журналистики от Сумарокова до Новикова, Эмина, Радищева и мн. др.; нельзя отрывать изучение Крылова-драматурга и Крылова-лирика от изучения русской комедии, начиная с Сумарокова и кончая Клушиным, Ильиным, Ивановым и др., от русской лирики, начиная с Хераскова и до Державина и его учеников вроде того же Клушина и т. д.¹³

Изучение Радищевского творчества, которое должно быть выдвинуто как одна из первоочередных задач нашей науки, за последние годы двигалось слабо. Укажу статьи, помещенные в «Ученых записках Саратовского государственного им. Н. Г. Чернышевского университета» (т. VII, Саратов, 1929 г.); А. Скафтымов в статье «О реализме и сентиментализме в Путешествии Радищева» (стр. 173—194) ставит вопрос о стиле Радищевской книги. Статья сделана тщательно, и автор подошел к вопросу серьезно. Тем не менее никак нельзя согласиться с его основным тезисом о том, что Радищев—вовсе не сентименталист. Доказательство этого тезиса построено на урезанном, суженном и произвольном понимании термина сентиментализм (в достаточной мере неопределенном в данном контексте) и на несколько механическом анализе отдельных элементов стиля, оторванных и от общего мировоззрительного задания произведения, и от общего стилистического характера Радищевского произведения, и от проблематики социальной борьбы эпохи, и даже отчасти от окружающей Радищева литературной современности. Неясно также понятие «реализм» в изложении А. Скафтымова. Все же следует приветствовать попытку вновь поставить вопрос о Радищеве как о писателе.

В том же сборнике имеется статья А. Н. Лозановой «К характеристике «Путешествия» и сибирских путевых заметок Радищева (этнографические элементы)»

(стр. 251—259), имеющая ученический характер. В статье отмечены следы этнографических интересов Радищева в некоторых его произведениях.

Краеведческий характер имеет и статья П. Н. Луппова «А. Н. Радищев о Вятском крае» (труды Вятского Научно-исслед. института краеведения, т. IV, 1928 г., Вятка, стр. 102—109), в которой говорится о заметках Радищева о Вятском крае в его дневниках путешествий в Сибирь и из Сибиря.

Наконец последней по времени работой о Радищеве явилась статья Н. Г. Павловой «Сказка «Бова» у Радищева и Пушкина как вид политической сатиры» («Звенья», т. I, 1932). Эта сумбурная статья способна только запутать ряд вопросов, связанных с изучением творчества Радищева. Так автор ее считает, что Радищев якобы изобразил в «Бове» Петра II и Григория Орлова в лице Гвидона и Додона, что он имел в виду прославить в этой поэме Петра III в благодарность Павлу I за освобождение из Сибиря, что он хотел описать в ней иносказательно известные вторичные похороны Петра III при Павле и т. д. Все эти ни на чем не основанные и конечно совершенно несправедливые догадки не обоснованы сколько-нибудь серьезно, и против них можно выставить ряд веских соображений. Сверх того статья изобилует странными натяжками и предположениями. Укажу например, что автор предполагает, будто использованный им список сказки о Бове принадлежал Павлу Петровичу только потому, что в нем есть вставка-запись: «государь, ести хочется. С великою радостью»,—как будто бы обращение «государь» не было широко распространено в XVIII веке. Или такое: Павел Петрович в бытность свою в Париже смотрел в театре пьесу Лагарпа «Jeanne de Naples». Поэтому, между прочим, как пишет Н. Г. Павлова, «Жанета—девка храбра» фигурирует в «Бове», как у Радищева, так и у Пушкина... Но тут же прибавляет, впрочем, что Радищевская Жанета—это «La Pucelle» Вольтера. Убийственная логика. Я уже не говорю, что в литературные источники для Радищевского «Бовы» Н. Г. Павлова зачислила книги М. М. Щербатова, идеолога феодальной аристократии и крепостника. В целом, хотя в статье Н. Г. Павловой есть одно ценное место,—это сличение мотивов сказки о «Бове» с Радищевской поэмой, появление этой статьи никоим образом невозможно приветствовать.

IV

Как видим, плановость не сделалась еще принципом, руководящим работой нашей литературоведческой науки по изучению XVIII в. Здесь царит еще самотек, приводящий к ряду неудобств. С одной стороны, несколько ученых принимаются за одну и ту же тему, едва ли не случайно всплывшую на поверхность; с другой стороны, самые нужные, самые большие темы остаются вовсе или почти неизученными.

Вопрос об организации научных сил в данной области, о некоторой хотя бы систематизации работы стоит того, чтобы о нем подумали наши научно-исследовательские учреждения. Еще существеннее то, что анализ литературы XVIII века под углом зрения марксизма-ленинизма почти еще не начинался.

Но первой задачей, стоящей перед литературоведением по отношению к XVIII в., является задача преодоления косных взглядов на него, введение его в круг «большой» русской литературы. Пора уже отказаться от пренебрежения к «допушкинской» литературе, пора перестать смотреть на нее как на достойные лишь ультраакадемической науки, пора отнестись к ней как к искусству, т. е. как к факту и фактору социального творчества.

При этом недостаточно рассчитывать на ученых, на книголюбов, на «любителей старины». Не им мы должны показать XVIII век; они обязаны сами узнать его. Мы должны открыть XVIII век для широкого читателя, для вузовца, для преподавателя школы, для рабочего, которого интересуют судьбы нашей литературы. Мы не можем удовлетвориться борьбой за научный подход к фактам XVIII в. внутри науки; такая борьба будет бесплодна, пока мы не вынесем ее на трибуны научной мысли, в широкую печать. Только тогда можно будет говорить, что мы преодолели наследие «старозаветного» ложного отношения к литературе XVIII в., когда произойдет поворот в общественном восприятии фактов этой литературы, когда читатель, считающий долгом культуры знать и любить Толстого, хорошо помнить Тургенева и Тютчева, прочтет и оценит Державина, Карамзина и Сумарокова. Только тогда возможна будет настоящему и широкая научная разработка наследия писателей XVIII в., потому что наука изучает по преимуществу живое, а не мертвое, потому что он апитается художественными течениями, идеями и восприятиями общества, ее создающего. Одно надо усвоить: довольно прятать целую эпоху русской литературы в архивах, в письменных столах профессиональных ученых, в научных книжных собраниях; надо вынести ее в массовую библиотеку, на витрину книжного магазина, в школу.

Я не могу конечно в этой статье останавливаться на тех проблемах, которые стоят перед будущими исследователями литературы XVIII в.; в конце концов это—проблемы всего нашего литературоведения в целом. Но я считаю возможным здесь подчеркнуть необходимость вывести из забвения самый объект изучения.

К сожалению за последние годы по линии популяризации самих произведений XVIII столетия не было сделано почти ничего.

Дело кажется ограничилось изданием однотомника Крылова, «Бедной Лизы» в школьной серии ГИЗ (1930 г., статья Н. В. Балаева при этом издании имеет характер специфический—это статья для средней школы), школьным изданием басен Крылова (Полн. собр. басен, ГИХЛ, Дешевая библиотека классиков. Школьная серия, 1931. Послесловие А. Цинговатова мало убедительно), помещением кое-какого материала в книге «Мнимая поэзия. Материалы по истории поэтической пародии XVIII и XIX вв. под редакцией Ю. Тынянова» (Academia, 1931) и двумя переизданиями записок Болотова (Academia, 1931 и сл. и «Молодая гвардия», 1930).

Книга Тынянова задумана интересно. Пародия конечно дает существенный материал и для историка литературы, и для историка вообще; пародия—значительный и острый вид художественного творчества. Но (имею в виду материал XVIII в.) книга пародий вышла местами суховата и малопонятна. Мешает восприятию книги и самое расположение материала; сначала идут пародии по пародируемым жанрам: ода, элегия, песня и романс и т. д., при чем например под рубрикой оды объединены произведения самых различных школ от 80-х годов XVIII в. до 30-х XIX в., под рубрикой элегии имеются в виду как «элегии» сумароковской школы, так и элегии школы Жуковского и Батюшкова, т. е. совсем разные литературные образования, и т. д. Далее группировка материала по жанрам сбивается (отдел «Эклектики, дилетанты и подражатели», «30-е годы», «экзотика»). Наконец значительная часть книги располагает материал по пародируемым поэтам, а в конце—опять новый принцип группировки материала: «Приложение. Пародические памфлет, фельетон и сатира». Я не буду говорить о подборе материала XVIII в. в книге; мне кажется, что хорошо и то, что составители книги напомнили о целом ряде примечательных памятников пародийной литературы XVIII в.

Но вот в чем беда: читатель, не знающий всей истории литературной борьбы в XVIII в. (а какой же читатель ее знает?), мало что поймет и оценит в пародиях этой эпохи. Для него лишены смысла все намеки, все особенности пародийного стиля, игравшего в свое время роль острого оружия против литературных—и не только литературных—недругов.

Весьма краткий, хотя и точный, комментарий к книге ни в малой мере не может прийти здесь на помощь читателю, не улавливающему, в чем же комизм, в чем остроумие, в чем смысл пародии, поскольку он не знает пародируемого материала, не знает реалий, не знает, кто, за что и против чего борется оружием пародии. Укажу примеры: в книге напечатана пародия на сатиру И. П. Елагина. Кто такой И. П. Елагин? Что это за сатира? Разве читатель обязан знать это? Разве он помнит, что в сатире Елагина похвален Сумароков и обруган Ломоносов, что вокруг нее разгорелась целая литературная война, и т. д.? А между тем все в печатаемой пародии, начиная от заглавия ее, понятно лишь при знакомстве с относящимся сюда материалом; часть текста пародии почти вовсе непонятна (т. е. мало понятен элементарный смысл его) без знания текста сатиры Елагина. Между тем в примечании к пародии никаких сведений ни о Елагине, ни о его сатире не дано; составители удовлетворились приведением двух строк из Елагинской сатиры в виде эпиграфа к пародии (даже не указав, откуда эти две строки). Этот метод эпиграфов, указывающих пародируемый текст, принятый в книге, мало помогает читателю. Другой пример: дана пародия на В. Петрова; опять читатель ничего конечно не знает о В. Петрове; пародия непонятна для него, как впрочем и множество других (для XVIII в. почти все), потому что даже пародии на Ломоносова мало говорят без напоминания о пародируемом тексте.

Отмечу как существенное достоинство книги «Мнимая поэзия» то, что в ней опубликованы впервые некоторые примечательные стихотворения XVIII века.

Кстати: нельзя не видеть некоторой парадоксальности развития нашего знания о литературе XVIII в. в том, что ознакомление с нею широкого читателя начинается с пародии.

Я не считаю нужным останавливаться в настоящей статье на книжечке, вышедшей на год раньше «Мнимой поэзии» и по существу отмененной этой последней работой, на сборнике Б. Бегака, Н. Кравцова и А. Морозова «Русская литературная пародия» (Вступительные статьи А. Цейтлина и Л. Гроссмана. ГИЗ, 1930). К XVIII в. в этой книжечке относится лишь несколько стихотворений в самом сборнике и

несколько страниц в одной из многочисленных статей, вводящих в него, в статью Н. Кравцова «К истории русской пародии», страниц не очень содержательных, весьма развязно написанных и обнаруживающих недостаточное знакомство автора с историей литературы.

В 1931 г. ГИХЛ выпустил «однотомник» — сочинения Крылова. Однотомник содержит все 9 книг басен Крылова и избранные произведения его в других жанрах: стихи, прозу и комедии. В начале тома — статья В. М. Саянова «Крылов и русская литература», в конце и внизу страниц текста примечания и биография, автор которых не указан. Задача Гизовских однотомников — широко распространить произведения так называемых классических писателей, дать в руки школьнику или взрослому рабочему доступную по цене, портативную и в то же время вполне научно подготовленную книгу, знакомящую его с вершинными достижениями художественного творчества прошлого. В этом смысле появление однотомника Крылова — очень положительное явление. Совершенно правильно поступил при этом ГИХЛ, издав не только басни Крылова, но решив показать его во всех главных проявлениях его художественного пути — от журналистики и «левой» позиции через националистические комедии к охранительным и идейно-реакционным басням (конечно сущность Крыловского мировоззрения не так уж сильно изменилась за сорок с лишком лет его литературной деятельности; менялся состав взглядов и высказываний в соответствии с изменением социально-политической ситуации. К сожалению этот вопрос недостаточно ясно поставлен в издании). Собственно к XVIII в. относится именно не басенное творчество Крылова (до 1805 г. им написано всего несколько басен), однако я позволю себе высказаться обо всем издании в целом, так как раздробить его на части не представляется возможным. Оставляя в стороне текстологические вопросы, можно кое-что возразить по поводу выбора произведений и очень многое по поводу объясняющего текст материала. О выборе: почти совсем не показан Крылов как поэт — помимо басни. В отделе «Избранные стихотворения» дано 19 эпиграмм, мадригалов и т. п. мелочей, 2 послания — и все. Крылов-лирик, автор целого ряда стихотворений (и прекрасных стихотворений), почти вовсе скрыт от читателя за счет исторических мелочей, едва ли так уж характерных для его творчества. Что же касается драматических произведений и журнальных статей, то они отобраны, по моему мнению, достаточно правильно. Но очень неблагоприятно обстоит дело с комментарием и прочим, к нему относящимся. Задача комментария в издании типа Гизовского однотомника прежде всего в том, чтобы приблизить классического писателя к современному читателю, объяснить его в целом и в тех частностях и деталях, которые непонятны по условиям отдаленности времени, чуждости быта и т. п. Надо было сделать текст Крылова, во многих местах уже не лишенный признаков обветшания языка и часто рассчитанный на понимание подразумеваемых в нем событий, отношений, идей начала XIX в., полностью открытым для школьника, тем более — для вузовца, кружковца, рабфаковца. Повидимому составители книги забыли о такой задаче. Интересная статья В. М. Саянова «Крылов и русская литература» нисколько не заботится о том, чтобы показать читателю определенные факты и осветить их. Она рассчитана на читателя, превосходно осведомленного в истории русской литературы конца XVIII и начала XIX в. и знающего к тому же французский язык (дав перевод одной французской цитаты из Лансона, автор не счел нужным перевести название оперы Руссо, а затем и цитату из Лафонтена). Это — очерк, *essai*, в духе какой-нибудь юбилейной речи, произнесенной в весьма академическом или литературном собрании. Автор говорит о разнообразных вещах: много о Радищеве, Карамзине, о всей литературе конца XVIII и начала XIX в. и недостаточно о Крылове, при чем он не показывает его, так же как не показывает ни Радищева, ни Карамзина, ни других, а говорит по поводу их и лишь «истолковывает», при чем читателю неизвестен объект истолкования, например взгляды Крылова той или иной эпохи, сообщить о которых Саянов не считает нужным. Однако и самое истолкование не совсем правильно уже по своей установке, поскольку оно, обходя самого Крылова, главным образом напирает на то место, которое занимает Крыловское творчество среди отвлеченно вычерченных литературно-социальных группировок эпохи и затем в «линиях», традициях, жанровых эволюциях от Хераскова до Салтыкова-Щедрина. Нехорошо конечно отрывать писателя от своей эпохи, но непохвально, особенно в данном случае, забывая о писателе, заниматься классификацией всех явлений литературы эпохи по нескольким рубрикам с тем, чтобы, пристроив своего писателя к одной из них, считать свою миссию выполненной. Между тем надо было раскрыть систему Крыловского мировоззрения, его литературной идеологии и социальной направленности, эволюции его творчества в целом. Ведь важнее было в данном случае объ-

яснить Крылова, т. е. объективный, исторический смысл его произведений, чем строить «форсоцовское» здание взаимоотношений литературных групп и фактов целой четверти века с лишком на пространстве не такой уж большой статьи. В статье Саянова есть немало интересных мыслей, которые можно было бы с пользой развить в специальных работах; это—статья даровитого, осведомленного и понимающего литературу человека; но, во-первых, она методологически беспомощна (эклектизм—от формалистических установок и формул, до часто весьма неточного социального анализа); во-вторых—она не совсем уместна в данном издании, мало даст именно тому читателю, на которого рассчитан однотомика. Еще меньше поможет читателю комментарий. Часть сведений из области реального комментария дана в подстрочных примечаниях. Необыкновенная краткость делает их иногда совершенно бесполезными, бессмысленными. Крылов начинает басню: «Когда Смоленский князь¹ Против дерзости искусством вооружась, Вандалам новым² сеть поставил...» к первому стиху примечание: «1) М. И. Кутузов-Смоленский», к третьему—«2) французам 1812 г.» (стр. 24); или у Крылова об осле сказано «А мой ушастый Геркулес»...; к последнему слову сноска: «В смысле—герой» (стр. 30); в другом месте к словам «Вот, новый Геркулес» сноска: «В смысле силач» (стр. 43). Или к стиху «Из Ахиллеса вдруг становится Омиром» примечание: «Т. е. из героя—певцом героев» (стр. 49), или к слову «Мегера»—«Заведывающая адскими мучениями» (стр. 85) и т. д. Едва ли читателю, который не обязан знать, что Омир—это Гомер, и даже кто такой Гомер, почему Геркулес—силач или герой, или даже кто такой Кутузов-Смоленский, что-либо дадут такие примечания. Если же он знает все это, они все-таки ничего не дадут ему, так как они слишком мало прибавляют к тексту. Что же касается Мегеры, то и она не объяснена примечанием, называющим ее служебное положение по адскому штату, поскольку не сказано даже, к какой мифологии относится это существо.

В примечаниях, данных в конце книги, также весьма мало нужного материала. Очень много в них приведено библиографических данных; это делает их неудобочитаемыми. К библиографии (вообще говоря, библиографическая точность ценна, но нужно было иначе подать весь этот материал) прибавляются варианты, «вовсе опущенные в примечаниях В. В. Каллаша» (редактора Полного собрания сочинений Крылова 1904—1905 и 1918 гг.),—совершенно неправильный для данного издания принцип, по которому может быть наиболее существенные варианты, как приведенные Каллашом (сам комментатор однотомика признает, что Каллаш в большой, хотя и не полной степени использовал печатные и рукописные источники-тексты Крылова), не попадут в комментарий, а самая малосущественная мелочь попадет в него. В комментарии далее указаны баснописцы, разработавшие до Крылова ту же басенную тему. Указания эти иной раз представляют лишь набор ничего не говорящих имен или ссылок, по которым весьма трудно даже найти соответственные тексты; например: «тему лжеца находим в баснях: Геллерта, Эмбера, Сумарокова, Хемницера и Левшина» (стр. 316). И тут же ссылка на Каллашевское Полное собрание сочинений и еще одну статью. Естественно возникает мысль—зачем же этот список имен, если все равно читателю надо для уяснения его адресоваться к работам, о значении которых уже шла речь раньше? Или еще пример, о басне «Лев состарившийся»: «Ее переводили до Крылова Тредьяковский, Сумароков, Ключарев (1795 г.), Державин и А. Е. Измайлов (1815 г.)» (стр. 363), и опять отсылки; или о басне «Откупщик и сапожник»: «До Крылова ее перевели Сумароков, анонимный писатель (1788 г.) и гр. Хвостов... и т. д. (стр. 316). Что дает указание на этого ненаходимого по данному тексту анонимного писателя?

Сверх библиографии—объяснительный комментарий часто объясняет столь же мало, как и подстрочные примечания. Например о басне «Троеженец»: «...По свидетельству Н. И. Греча реальной основой для басни послужило бракоразводное дело Е. Б. Фукса (писателя-историка, р. 1762 г.—ум. 1829 г.)» (стр. 316), а что это было за «дело»—не сказано, или о басне «Вельможа и философ»: «По предположению Я. К. Грота, Крылов отвечал этой басней на пасквиль гр. Хвостова» (стр. 316), или о басне «Раздел»: «В. Ф. Кеневич предполагает, что басня направлена против разногласий во время войны с Наполеоном» (стр. 316), или о басне «Квартет»: «Из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля... можно узнать, что в этой басне Крылов осмеял местнические счеты в «Беседе любителей Русского слова», в которых ему против воли приходилось принимать участие» (стр. 318), и т. д. и т. п. Все такие примечания заменяют одно неизвестное другим. Так и получается, что басни Крылова, бывшие в его руках сильным сатирическим или полемическим оружием, полные отзвуков активной социальной, политической, идейной, литературной борьбы его времени, вовсе не объяснены, не вскрыты комментарием; наоборот, мы найдем в нем такое вовсе ненужное замечание о басне «Гребень»: «П. А. Плетнев (в письме

к Я. К. Гроту) находил, что эта басня «самая грациозная» и что она удивительно глубока по идее и истинна в приложении к жизни» (стр. 320), или такое более чем странное «психологическое» наблюдение о басне «Василек»: «Сочинена под влиянием чувства благодарности к Марии Федоровне, приютившей баснописца в Павловске во время его болезни в 1823 г.» (стр. 315). Недостаточно объясненными остались и другие стихотворения Крылова. Так, в эпиграмме о Наполеоне и Чичагове (стр. 117) не объяснен даже первый стих «Любви Марбефовой с Летицией приплод», вовсе непонятный без знания сплетни о «незаконном» происхождении Наполеона (Летиция—его мать, Марбеф—французский губернатор Корсики), распространенной в реакционных кругах его русских ненавистников. Не объяснено, что это за «Приютино» в заглавии «Шуточные басни в Приютине», и т. д.

Биография Крылова, приложенная к комментарию, составлена вполне толково.

Сверх издания сатирических статей Крылова в разобранном одномомнике, проза XVIII в. представлена в деятельности наших издательств за последние годы Болотовым. Удивителен традиционализм нашей науки и наших издательств! XVIII век оставил нам немало прекрасных мемуарных произведений, выразительных в смысле отображения эпохи, любопытных для читателя. Среди них—записки Болотова занимают одно из заметных мест; но ведь не сошелся же свет клином на Болотова! Между тем, когда В. Шкловский выпустил свою книгу о Болотове, за ним пошли и издательства. Книга Шкловского, в которой он кратко излагает жизнь Болотова по его запискам, представляет собою художественное произведение (притом удачное) и следовательно должна быть воспринимается как новый роман Шкловского, а не как документ быта и литературы XVIII в.; книга эта не заменяет переиздания мемуаров Болотова. Переиздание их конечно полезно, и нужно приветствовать его. Но характерно, что Болотова заметил издатель тогда, когда он уже стал известен читателю; кто знает, не будь Шкловского, может быть Болотов и не был бы переиздан? Но что делать, если никого не найдется, чтобы обратить внимание кого следует на другие памятники, другие мемуары XVIII в.; мы так и останемся при одном Болотове, надо сказать довольно громоздком и даже скучноватом, несмотря на сокращения. Неплановость торжествует. Болотова уже знают; и вот издательство «Молодая гвардия» выпускает его записки в сильном сокращении: «Жизнь и приключения, описанные самим им для своих потомков». В книге имеется обстоятельное предисловие С. А. Пионтовского, дающее характеристику Болотова как мемуариста и писателя; обработка текста и примечания выполнены Н. Кравцовым и А. Морозовым. Этого мало. Вслед за «Молодой гвардией» спешит «Академия» со своим изданием «Записок». (Книга издана с внешней стороны исправно. Первому тому предпослана статья А. В. Луначарского «Прошлое, настоящее и будущее у разных народов. К изданию памятников литерат. и обществ. быта» и статья С. М. Ронского «Болотов и его время», дающая беглую характеристику записок Болотова и жизнеописание его самого.)

Не слишком ли много для одного Болотова—два издания за два года? При этом оба издания—сокращенные, следовательно неполноценные, не заменяющие даже старого издания записок, сделанного «Русской Стариной», и вовсе не исчерпывающие вопроса о необходимости (буде таковая имеется) переиздания Болотова. Над этим следовало бы задуматься издательствам, особенно если бы они вспомнили, что бумаги у нас мало и что не стоит тратить ее без толку.

Конечно необходимо познакомить нашего читателя с мемуарной литературой XVIII в. Но ведь свет вовсе не сошелся клином на Болотовских записках. Ряд мемуаристов, на которых ни один смелый и настойчивый человек не обратил внимания наших робких издательств, вероятно долго еще будет погружен в забвение только потому, что издательства не видят традиции разговоров о них, изданий и т. п.? Напомню о мемуарах Державина (уже имя автора достаточно говорит за себя), Винского, Данилова, о записках Лабиной, И. М. Долгорукова, первую половину которых издал «Русский библиофил», а вторая так и осталась до сих пор не изданной (1), и мн. др. Все эти мемуары дают богатейший бытовой материал. Нельзя не упомянуть также о ряде неизданных мемуарных работ и материалов того же А. Т. Болотова, так же как о других его трудах (напр. в области критики и т. п.). Вот бы издать эти работы, вместо того чтобы топтаться на одном месте вокруг остатков «Русской Старины»! Недавно появилась художественная обработка мемуаров Добрынина, сделанная Шкловским. Будем надеяться, что хоть это талантливое произведение несколько расшевелит кого следует.

Однако нужно заметить, что более первоочередная задача для наших издательских организаций, чем ознакомление широкого читателя с мемуарами или переписками,—ознакомление его с художественной литературой XVIII столетия.

Всем известно, что литературу XVIII в. узнать трудно даже при желании, так как трудно раздобыть книги, в которых она скрыта.

Даже специалист не всегда может прочесть те или другие памятники, иногда первостепенной важности. Отсюда ряд несправедливых недооценок. Приведу пример: один из наиболее замечательных, вполне живых для нашего эстетического восприятия лириков XVIII в.—без сомнения Херасков. Между тем даже специалисты-ученые ничего почти не знают о его лирике по той простой причине, что мелкие стихотворения Хераскова в большинстве не собраны; они печатались в журналах, настолько редких в наше время, что даже не все центральные научные библиотеки обладают полными экземплярами их. Вообще немало имен и множество произведений XVIII в. должно быть извлечено именно из журналов. Впрочем даже собрания сочинений не всегда помогали писателям. Даже такой шедевр эпохи, как песни Сумарокова, собранные в Полном собрании его сочинений (1781 и 1787 гг.), почти вовсе не перепечатывались с тех пор и потому очень мало известны. В общем читатель (и то литературовед по преимуществу) знает из XVIII в. только то, что помещалось в школьных хрестоматиях—Сиповского, Алферова и Грузинского; в лучшем случае к этому прибавляется Радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» и Фонвизинский «Недоросль».

В первую очередь надо дать возможность широкому читателю узнать Державина, узнать Сумарокова, Ломоносова, Хераскова, всю плеяду сумароковской школы и последователей Державина. Это—по части лирики. Надо познакомить читателя и с драматургией XVIII в., и с басней, и с «легкой» поэмой, и с сатирической статьей, и с прозой вообще. Здесь широкое поле для издательской работы. Надо наконец дать читателю настоящее полное собрание сочинений Радищева, так как такого еще не существует. Кроме того необходимо широко распространить его гениальное произведение «Путешествие из Петербурга в Москву» как целиком, так и в сокращенном, может быть в препарированном виде,—для юношества и т. д. Чем мучить записки Болотова, не лучше ли популяризовать первую и во многих отношениях непревзойденную по силе подъема, по художественной значительности революционную книгу русской литературы? Нужно дать в руки советскому читателю и Новикова с сатирическими (политическими) статьями его журналов, и других сатириков его типа. Нужно показать ему XVIII век целиком, во весь рост, во всей его значительности и яркости.

Необходимо собрать и издать публицистов, политических мыслителей, ораторов и писателей XVIII в. Такие имена, как Я. Козельский, Г. Коробьин, М. Щербатов и многие другие, должны быть известны так же широко, как имена дворянских и буржуазных публицистов XIX столетия.

Необходимо издать по-настоящему научно и в то же время популярно полное собрание сочинений Фонвизина и др.

Следующая задача—привести в известность множество материалов о XVIII в., имеющих первостепенную важность и до сих пор неизданных. Дело идет не об отдельных публикациях кусочками, а о введении в научный оборот всего того материала, который нужен науке, но до сих пор оставался в пренебрежении как из-за общего отсутствия интереса к XVIII в., так и из-за неорганизованности научной работы в данной области. От мелочей надо перейти к главному.

До сих пор лежат неизданными целые циклы стихотворений Державина и великое множество его писем, деловых бумаг, расчетов по изданиям его произведений и т. п. До сих пор мы ждем, когда будет приведен в известность материал о Н. А. Львове. Архив М. Н. Муравьева рассеян в разных местах; к нему относятся и замечательные критические и автобиографические заметки, и стихи, и письма; все это—драгоценный, в своем роде единственный материал. Его необходимо опубликовать.

Множество документов, писем, стихотворений поэтов и писателей Державинского круга ждут своего опубликования. Целый ряд драматических произведений XVIII в., иногда весьма существенных, до сих пор не издан.

Необходимо издать и письма Радищева, до сих пор неизвестные в печати (они хранятся в Воронцовском архиве в Библиотеке Академии Наук СССР). Ограничусь этими примерами, упомянув еще лишь о вопросе, имеющем особо выдающееся значение. Мы знаем литературу XVIII в. традиционно не только в смысле общего взгляда на нее, но и в смысле все еще крепкой традиции, предписанной старорежимной цензурой и школой. Не зная толком «низовой» литературы, мы не знаем и подпольной литературы, жившей в списках и не попадавшей, вообще говоря, в печать. Вот эту-то негласную публицистику, сатиру, иногда острую и волнующую в политическом отношении, надо извлечь из рукописных сборников XVIII в., собрать, обработать научно, издать. То же необходимо сделать и по отношению ко

множеству памятников «низовой» литературы вообще, в стихах и прозе. Укажу для примера на такой факт: был в конце XVIII и самом начале XIX в. поэт Сергей Никифорович Марин. Он писал сатирические стихи, памфлеты, пародии. Он был в своем роде знаменитостью. Однако из его наследия (в Публичной Библиотеке в Ленинграде и в других архивах сохранилось много его произведений) издано всего несколько стихотворений, да и те рассеяны по различным томам «Русской Старины» и т. п. Необходимо воскресить этого интересного поэта. Томик его стихов не только был бы «открытием» для науки, но и лучшей пропагандой поэзии его эпохи, так как стихи Марина легко читаются, живы, в своем роде блестящи.

Поэзия Марина—не единичный пример. Нельзя забывать, что в XVIII в. печатный станок не занимал столь исключительного положения среди других способов распространения литературных произведений, как в наше время. При весьма малом числе читателей и относительно дороговизне книг в ходу был другой способ распространения произведений, особенно небольших по размеру,—списки. Популярными стихотворения—оды, басни, сатиры, иногда даже крупного размера,—расходились в множестве списков. Произведение не нуждалось в печати для того, чтобы стать широко известным «читающей публике». Это создавало условия, при которых так много значительных произведений вовсе не появлялось в печати.

Между тем мы должны показать XVIII век не только в его официально-благонадежном благополучии, но и в его протесте, в его фронде, в его сатире и литературном бунте. Надо показать, что Радищев был не одинок, хотя равного ему и не было. Надо дополнить два-три переходящих из учебника в учебник анекдота о «Вадиме» Княжнина или «Сорене» Николева другими фактами, дающими возможность построить образ XVIII столетия по-новому.

Так от публикаций, от изданий текстов мы переходим к истолкованию их. Оба момента связаны. Без одного невозможен другой и наоборот. Весь издаваемый материал нужен постольку, поскольку он отобран и показан в аспекте определенного, методологически продуманного научного построения; но и построение это не может осуществиться, пока материал находится в общем забвении или в пользовании лишь крайне узкой группы знатоков.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Несколько лет назад журнал «На литературном посту» поместил статейку о Тредиаковском—по случаю 225-летия со дня его рождения. Статьи сама по себе была не плохая, и конечно очень хорошо, что она появилась, но выглядела она в журнале странно, так неожиданно было ее появление и вообще память о поэте, причисленном к кругу забытых, жившем и работавшем в XVIII столетии. И разве вспомнил кто-нибудь хотя бы о других юбилейных датах, связанных с литературой той эпохи?

² Цитата, приводимая Луначарским, взята из статьи Тредиаковского «Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне в свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю. 1750, СПб.», напечатанной впервые А. Куником в «Сборн. материалов для ист. имп. Акад. Наук в XVIII в.» (1865). См. стр. 473. А. В. Луначарский не указывает источника цитаты.

³ Перепечатана она в т. IX Полного собрания сочинений Сумарокова 1781 г.

⁴ Кстати, почему А. В. Луначарский дважды называет Малерба Малзербом (Malesherbe) на стр. 33 и 36?

⁵ Я предпочитаю в ряде случаев говорить не о персональном авторе той или иной статьи, помещенной в «Литературной энциклопедии», а об «авторе» вообще, так как редакционная практика наших коллективных изданий учит нас особой осторожности в данном направлении. Свобода, с которой редакции сокращают и меняют текст, делая его иногда неузнаваемым для самого автора, терпимость, с которой редакции относятся к жесточайшим опечаткам, обязывают при разборе коллективных изданий считать ответственной за статью редакцию издания может быть иной раз более, чем настоящего автора. Поэтому-то я и не называю здесь авторов некоторых статей «Литературной энциклопедии».

⁶ Предисловие к комедии «Пустомеля». Ср. также в предисловии к «Моту, любовию исправленному».

⁷ Между тем о таком например французском поэте, как Беркен, дана сравнительно немалая статейка.

⁸ См. статью В. И. Саитова в «Русском биографическом словаре» и биографию Капниста в примечаниях ко II тому соч. Батюшкова под ред. Л. Майкова и В. Саитова (1885). Здесь, на стр. 493, указание на старую ошибочную традицию датировки смерти Капниста.

⁹ За последние годы вышел из печати ряд томов нового (расширенного) издания энциклопедического словаря «Гранат». В них помещена серия заметок о русских писателях XVIII в. Я не останавливаюсь вовсе на этих заметках потому, что большинство их написано мною. Это не значит конечно, что я не могу указать ряда существенных недостатков в этих заметках. Не останавливаюсь также на статьях о писателях XVIII в. в «Большой советской энциклопедии» и в «Малой советской энциклопедии». И те и другие также имеют ряд недостатков, напоминающих недостатки, отмеченные в «Литературной энциклопедии».

¹⁰ Автор не сделал никаких выводов из своего указания. Он не видит даже, что зависимость Сумарокова от традиций интермедий и итальянских комедий определяет отчасти его драматургическую технику в первых комедиях; поэтому автор видит недостатки этих комедий (наивно-оценочные суждения) в том, что связано именно с этими традициями (см. примеч. на стр. 206).

¹¹ Так, неясно, почему В. Н. Перетц, давая оглавление произведений, помещенных в рукописном сборнике, заключающем и интересующие его сатиры, не указывает авторов этих произведений в тех случаях, когда это возможно (например ода «На верх Парнаских гор прекрасный» — Ломоносов и «Гимн солнцу» — Сумароков); говоря о том, что стих первого из подражателей «порою более ритмичен», чем у Кантемира, исследователь тем не менее не останавливается на этом вопросе, хотя стих подражателя на самом деле довольно значительно отличается от Кантемировской силлабики, не только приближаясь к правильному хореическому стиху, но и почти переходя в него (см. также характерные перестановки слов в стихах, заимствованных у Кантемира, сделанные в целях подведения их под хореическую схему; стр. 348—349 статьи В. Н. Перетца).

¹² Силлабическому стиху XVIII в. посвящена также часть работы Л. Тимофеева «Из истории и теории русского стиха» (ученые Записки Инст. яз. и литературы Ранион, т. II, 1928).

¹³ Статью калечат недопустимые опечатки: трагедия «Филомел» вместо «Филомела», «капиталистические принципы» очевидно вместо «классические принципы», «Триумф» вместо «Трумф», неверные даты.